

Баронъ А. Е. ВРАНГЕЛЬ

---

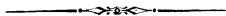
ВОСПОМИНАНІЯ

О

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМЪ

ВЪ СИБИРИ

1854—56 гг.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1912



Баронъ А. Е. ВРАНГЕЛЬ

---

ВОСПОМИНАНІЯ

О

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМЪ

ВЪ СИБИРИ

1854—56 гг.



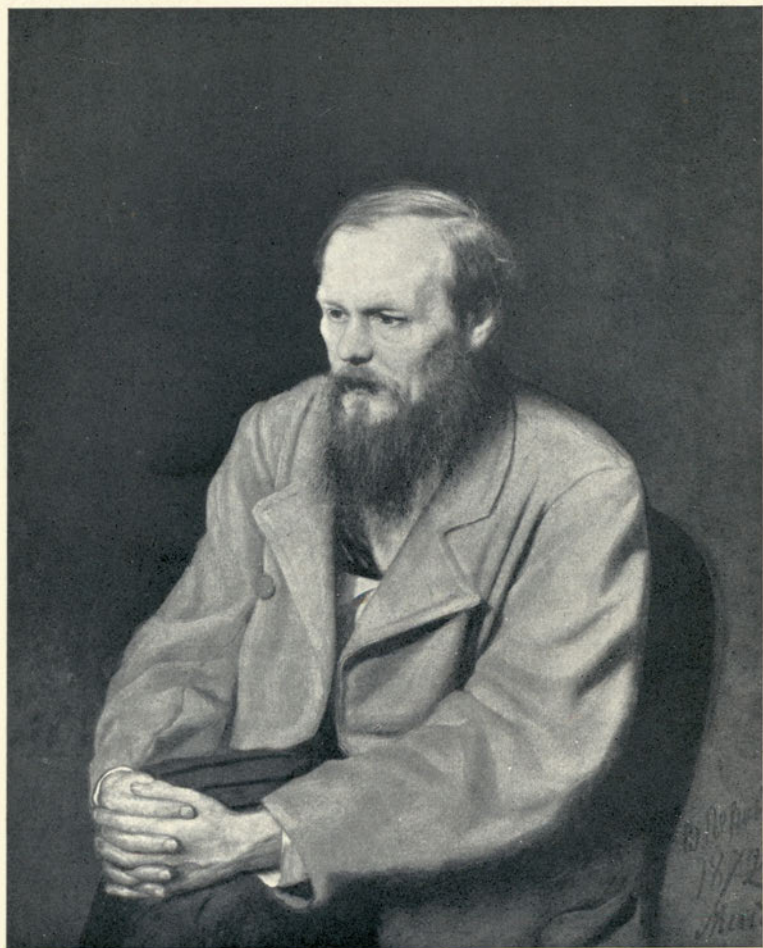
С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1912



Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ, 13





Edoardo Rubens Lovato



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАН.
Предисловіе . . . . .	1
Казнь Ѳ. М. Достоевскаго . . . . .	3
Мое назначеніе на службу въ Сибирь . . . . .	8
По дорогѣ въ Семипалатинскъ.—Первая встрѣча съ Ѳ. М. Достоевскимъ . . . . .	11
Ѳ. М. Достоевскій—солдатъ Сибирскаго линейнаго № 7 батальона.—Наше семипалатинское житье-бытѣе . . . . .	18
Романъ Достоевскаго.—Сборы въ походъ.—Дача «Казаковъ Садъ».—Наши поѣздки по окрестностямъ . . . . .	38
Несчастливая любовь Достоевскаго.—Тайная наша поѣздка съ Достоевскимъ.—Пріѣздъ генераль-губернатора . . . . .	63
Марина О.—ученица Достоевскаго.—Поѣздка въ Змѣиногорскъ.—Кольванское озеро.—Типъ сибирскаго чиновника . . . . .	81
Пріятель Достоевскаго, Валихановъ.—Поѣздка на слѣдствіе.—Охоты.—Возвращеніе въ Семипалатинскъ . . . . .	94
День тезоименитства императора Александра II въ Семипалатинскѣ.—«Dura lex, sed ex».—Сибирскія тюрьмы.—Человѣкъ-звѣрь . . . . .	100
Смерть Исаева.—Заботы Достоевскаго о Маріи Дмитріевнѣ—Мой отъѣздъ изъ Семипалатинска.—Разлука съ Достоевскимъ . . . . .	126

### Письма Ѳ. М. Достоевскаго къ бар. А. Е. Врангелю:

Изъ Семипалатинска: отъ 14 августа 1855 г. . . . .	126
»           »           » 23 августа 1855 г. . . . .	130
»           »           » 23 марта 1856 г. . . . .	138

	СТРАН.
Изъ Семипалатинска: отъ 13 апрѣля 1856 г. . . . .	145
» » » 14 юля 1856 г. . . . .	152
» » » 21 юля 1856 г. . . . .	154
» » » 9 ноября 1856 г. . . . .	157
» » » 21 декабря 1856 г. . . . .	162
» » » 25 генваря 1857 г. . . . .	167
» » » 9 марта 1857 г. . . . .	170
» Твери: отъ 22 сентября 1859 г. . . . .	198
» » » 31 октября 1859 г. . . . .	172
» » » 2 ноября 1859 г. . . . .	174
» » » 19 ноября 1859 г. . . . .	177
» Висбадена: отъ 5 сентября (стар. ст.) 1865 г. . . . .	180
» » » 18 февраля 1865 г. . . . .	183
» » » 28 сентября 1865 г. . . . .	185
» Петербурга отъ 31 марта 1865 г. <sup>1)</sup> . . . . .	205
» » » 8 ноября 1865 г. . . . .	187
» » » 9 мая 1865 г. . . . .	189

---

Хлопоты о <i>Θ. М. Достоевскомъ</i> .—Рядъ послѣднихъ встрѣчъ.— Нѣсколько словъ по поводу памятника <i>Θ. М. Достоев-</i> <i>скому</i> <sup>2)</sup> . . . . .	191
--	-----

---

<sup>1)</sup> Письмо это, начатое *Θ. М. Достоевскимъ* 31 марта, въ этотъ день отправлено не было: въ немъ имѣются даты продолженія его: 9 и 14 апрѣля 1865 г.

<sup>2)</sup> Въ этой главѣ помѣщены письма *Θ. М. Достоевскаго* къ бар. *А. Е. Врангелю*: изъ Твери, отъ 22 сент. 1859 г. и изъ Спб. отъ 31 марта 1865 г., какъ имѣющія связь съ хлопотами автора о *Θ. М. Достоевскомъ*.



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Мои близкія отношенія и сожительство съ *Θ. М. Достоевскимъ* въ Сибири, вѣроятно, извѣстны многимъ изъ напечатанныхъ его писемъ ко мнѣ <sup>1)</sup>.

Проживая десятки лѣтъ за границею, я мало знакомъ съ тѣмъ, что писали о немъ въ Россіи, но изрѣдка мнѣ приводилось прочитывать удивительные вымыслы, касающіеся его.

Изъ біографическихъ данныхъ о *Θ. М.* въ Сибири мнѣ особенно близко извѣстно многое, такъ какъ мы жили съ нимъ вмѣстѣ мѣсяцами подъ одной крышей. Каждая мелочь, касающаяся нашего великаго писателя, думается мнѣ, полна интереса,—вотъ это и дало мнѣ поводъ сдѣлать мой скромный вкладъ моими настоящими записками.

Баронъ А. Е. Врангель.

---

---

<sup>1)</sup> Біографія, письма и замѣтки изъ записной книги *Θ. М. Достоевскаго*. С.-Петербургъ. 1883 г. Сгруппировано *О. Θ. Миллеромъ* и *Н. Н. Страховымъ*.





Варшавский  
Рыбаков 21 марта  
1858.



## Казнь Ѳ. М. Достоевскаго.

Революціонное движеніе 1848 года въ Западной Европѣ довольно незамѣтно прошло для насъ въ Лицеѣ. Политикою мы, ученики, тогда не занимались, да и времени на это не было. Долбежъ всякой излишней мудрости шель страшный, и единственное, что насъ интересовало—это вопросъ: отпустить ли насъ домой въ субботу за хорошіе баллы и поведеніе, или въ воскресенье. Одно слово «революція» приводило въ то время въ смущеніе большихъ и малыхъ. Я живо помню, какъ засталъ отца, таинственно шепчущаго что-то дядѣ моему на ухо; разслышавъ слова: Франція, революція, Луи-Филиппъ, бѣгство—я спросилъ его, о чемъ это они говорятъ? Отецъ, взявъ съ меня слово, что я буду молчать, рассказалъ намъ о переворотѣ въ Парижѣ, бѣгствѣ короля и революціонномъ движеніи въ Германіи. «Но, ради Бога, молчи... знай, что здѣсь, въ Петербургѣ, стѣны слышать. И такъ уже носятя слухи, что образовалась среди васъ, молодежи, какое-то политическое общество».

Въ началѣ 1849 года (мнѣ тогда минуло 16 лѣтъ, и я былъ переведенъ во II классъ Лицея—старшій гимназическій курсъ) мы узнали, что тайная полиція открыла заговоръ, что схвачено много лицъ изъ общества и, между прочимъ, бывшіе лицеисты—Бута-

шевичъ-Петрашевскій, Николай Спѣшневъ, Николай Кашкинъ, Александръ Европеусъ. Я ихъ всѣхъ зналъ, встрѣчая въ обществѣ и въ Лицеѣ, куда они часто пріѣзжали къ бывшимъ младшимъ своимъ товарищамъ. Къ тому же нашъ инспекторъ, полковникъ Н. И. Миллеръ, былъ близкій родственникъ Кашкина. Говорили, что государь Николай I недоволенъ Лицеемъ—«духъ худой». И вотъ въ одинъ прекрасный день мы услышали въ 6 час. утра, вставая, барабанный бой на площадкѣ лѣстницы передъ спальнями. Дядьки наши, все ветераны 12-го года, пояснили намъ, что это царская милость; что отнынѣ будетъ «муштровка», насъ будутъ учить строю и дадутъ унтеровъ л.-гв. Гренадерскаго полка,—казармы ихъ примыкали къ нашему саду-парку.

Дѣйствительно, скоро назначили намъ для каждаго класса по одному гвардейскому офицеру въ помощь гувернерамъ-воспитателямъ и ежедневно учили маршировкѣ и военнымъ построениямъ. Особенно строго начали слѣдить за чтеніемъ, отбирали всѣ привозимыя изъ дома книги, запрещали всѣ газеты, и воспитатели вскрывали даже наши письма, особенно заграничныя. Однажды вечеромъ мой добрѣйшій воспитатель г. Плещъ, нѣмецъ, бывший студентъ Гейдельбергскаго университета, образованный, гуманный, сохранившій много замашекъ нѣмца—«бурша»,—таинственно посовѣтоваль намъ припрятать «вольные стихи», книги, «die Liberalen», такъ какъ, только что мы уляжемся спать, прибываетъ жандармскій офицеръ осматривать конторки. У меня, кромѣ какихъ-то стиховъ Пушкина, ничего не было, и я запряталъ ихъ подъ тюфякъ. Обыскъ сошелъ благополучно во всѣхъ четырехъ классахъ. Между тѣмъ дѣло о Петрашевскомъ становилось все болѣе и болѣе предметомъ салонныхъ разговоровъ. Я только

что прочелъ двѣ повѣсти Ф. М. Достоевскаго «Бѣдные люди» и «Неточка Незванова» и очень былъ огорченъ и удивленъ, когда услышалъ отъ дяди моего отца, Карла Егоровича Мандерштерна, бывшаго членомъ военнаго аудиторіата, а потомъ комендантомъ Петропавловской крѣпости, гдѣ сидѣлъ Петрашевскій, а также отъ одного изъ судей и сенаторовъ, Александра Фодоровича Веймарна, что Достоевскій и нѣсколько другихъ его товарищей приговорены къ смертной казни. Помню, что всѣ недоумѣвали предъ такой строгостью приговора. Аудиторіатъ присудилъ ихъ къ разстрѣлянью, но просилъ государя о помилованіи—это имъ было отклонено. Государь Николай Павловичъ не могъ, вѣроятно, забыть декабрьскаго бунта 1824 года и жестокостью наказанія думалъ затормозить наплывъ революціонныхъ идей съ Запада. Ф. М. Достоевскій былъ приговоренъ къ смертной казни за чтеніе въ одномъ изъ собраній у Петрашевскаго письма Бѣлинскаго къ Гоголю и, какъ онъ мнѣ впоследствии неоднократно говорилъ, никогда даже не раздѣлялъ крайнихъ идей Петрашевскаго о полученіи конституціи насиліемъ.

Лѣтомъ я узналъ отъ статсъ-секретаря Сахтынскаго, который вмѣстѣ съ Л. В. Дубельтомъ (жан-дармскимъ полковникомъ) принималъ у Пантелеймонскаго моста арестованныхъ и снималъ первый допросъ, что Ф. М. Достоевскій тоже заключенъ въ Алексѣевскій рavelинъ и что вѣскихъ уликъ противъ него пока не имѣется.

1849 годъ былъ холерный. Масса людей умирала въ Петербургѣ, и насъ, лицеистовъ, распустили по этому случаю до сентября. Признаюсь, что я и забывъ о петрашевцахъ.

Передъ Рождествомъ насъ распустили на праздники. Я долженъ былъ ѣхать къ своимъ въ наше

имѣніе, версть за 75 отъ города по Нарвскому тракту, но замѣшкался и жилъ у дяди, барона Н. И. Корфа, въ маленькомъ деревянномъ одноэтажномъ домѣ гр. Аракчеева на углу Литейной и Кирочной, гдѣ теперъ находится зданіе военного офицерскаго собранія. Дядя тогда былъ начальникомъ военныхъ поселеній. Вставъ часовъ въ 8 утра 22 декабря 1849 г., я увидѣлъ цѣлую вереницу двуконныхъ возковъ-каретъ, ѣдущихъ со стороны р. Невы вверхъ по Литейной улицѣ по направленію къ Невскому. Въ такихъ возкахъ тогда развозили смолянокъ и балетныхъ ученицъ Театральнаго училища; но тутъ же я примѣтилъ, что по сторонамъ гарцовали жандармы съ саблями наголо. Я терялся въ догадкахъ. Въ это время вошелъ мой дядя Владиміръ Ермолаевичъ Врангель, младшій братъ отца, служившій въ конно-гренадерахъ, и объяснилъ мнѣ, что это везутъ на Семеновскій плацъ петрашевцевъ, приговоренныхъ къ смертной казни, и что онъ пришелъ со своимъ эскадрономъ изъ Петергофа, такъ какъ одинъ изъ офицеровъ эскадрона, Григорьевъ, замѣшанный въ дѣлѣ Петрашевскаго, также долженъ быть казненъ. Оказывается, что были офицеры и другихъ еще полковъ, причастные къ этому дѣлу и осужденные, и всѣ полки посылаютъ на плацъ свои части; такъ, напримѣръ, явились лейбъ-егеря ради Ѡ. Львова и другихъ.

Дядя пригласилъ меня ѣхать съ нимъ на плацъ. Одѣвшись наскоро въ мундиръ, набросивъ казенную безъ подкладки лѣтнюю шинель (зимней у меня не было, такъ какъ отецъ находилъ это роскошью и былъ того мнѣнія, что мальчика надо закалять, а не баловать), надѣвъ треуголку, мы взяли извозчика, — «ваньку», какъ тогда говорили, — и поѣхали. День былъ пасмурный, хмурое петербургское утро, градусовъ такъ 6—8, изрѣдка перепадаль снѣгъ. Когда



мы прибыли на Семеновскую площадь, тогда еще незастроенное огромное поле, мы увидали вдали, посрединѣ плаца, небольшую группу народа, каре изъ войскъ, и въ срединѣ ихъ какую-то постройку, площадку изъ досокъ на высокихъ бревенчатыхъ столбахъ; на площадку вела лѣстница. Мы хотѣли пробраться ближе, но полицейскіе и жандармы насъ не пропустили, а одного дядя не хотѣлъ меня оставить. Въ это время подошелъ къ намъ мой родственникъ, А. К. Мандерштернъ, сынъ коменданта Петропавловской крѣпости; онъ явился для присутствования при казни съ своей лейбъ-егерской ротой. Увидавъ меня, онъ пришелъ въ ужасъ. «Ради Бога, убирайся ты отсюда: не дай Богъ начальство узнаеть, что ты былъ на казни, пожалуй, тебя еще заподозрять, какъ политическаго, и выгонять изъ Лицея». Тутъ же Мандерштернъ сообщилъ намъ «по секрету», что разстрѣла не будетъ, всѣмъ дарована жизнь, но что преступники этого не знаютъ—по волѣ императора, что процедура разстрѣла будетъ исполнена до конца, что въ послѣднюю минуту, когда должна раздаться команда «пли»—прискачетъ адъютантъ съ Высочайшимъ приказомъ—остановить казнь...

Дяди отправились къ своимъ частямъ, а я вмѣшался въ сѣрую толпу, стоя довольно далеко за каре войскъ. Любопытныхъ зрителей вообще на площади было немного, все случайно прохожій народъ; изъ «чистой» публики почти никого,—о времени казни въ городѣ никто не зналъ. Настроеніе толпы было серьезное, сожалѣли «несчастныхъ», и никто не зналъ, за что казнять.

Я видѣлъ, какъ на эшафотъ всходили и сходили какія-то фигуры, какъ внизу около него къ вкопанымъ въ землю столбамъ привязывали въ бѣлыхъ саванахъ людей, какъ ихъ отвязывали, потомъ подѣ-

ѣхали тройки почтовыхъ съ кибитками и тѣ же возки-кареты, что я видѣлъ на Литейной,—и вскорѣ площадь опустѣла; народъ разбрелся, крестясь и благословляя милость царя.

Пресловутыхъ бѣлыхъ гробовъ, о которыхъ рассказывали послѣ, я не видалъ, и Ф. М. Достоевскій (впослѣдствіи, въ дни нашего сожителства въ Семипалатинскѣ) утверждалъ мнѣ неоднократно, что ихъ и не было. Вообще объ этихъ ужасныхъ минутахъ, пережитыхъ имъ, онъ не любилъ вспоминать; онъ говорилъ, что, ничего не зная о предстоящемъ помилованіи, онъ вполне приготовился къ смерти. Привязанный къ столбу съ саваномъ, ожидая роковую команду «пли» (время ему показалось нескончаемо долгимъ),—мысленно онъ попрощался со всѣми милыми сердцу его. Вся жизнь пронеслась въ его умѣ, какъ въ калейдоскопѣ, быстро, какъ молнія, и картинно.

Вернувшись послѣ тяжелаго зрѣлища домой, я, напуганный словами дяди, годами молчалъ, никому не говорилъ, что былъ на Семеновскомъ плацу по случаю ожидавшейся казни петрашевцевъ. Въ дни Николая Павловича одно это могло повліять на всю мою будущность... Такое это было время!

### **Мое назначеніе на службу въ Сибирь.**

Въ 1853 году, въ маѣ мѣсяцѣ, состоялся выпускъ на службу лицейстовъ XIX курса. Я принадлежалъ къ этому выпуску и по желанію отца поступилъ на службу въ министерство юстиціи, куда меня несколько не тянуло. Мнѣ только что минуло 20 лѣтъ. Изъ всѣхъ 28 моихъ товарищей, я единственный поступилъ въ это министерство, такъ какъ лицейсты

неохотно шли туда, считая это министерство поприщемъ службы и достояніемъ правовѣдовъ. Въ мое время еще процвѣтало традиціонное лицейское товарищество. Старые лицеисты, занимавшіе высокіе посты, приглашали сами на службу къ себѣ выпускныхъ товарищей и никогда не отказывали въ просьбѣ о принятіи на службу въ свое вѣдомство. Всѣ мы держали знамя Лицея высоко. Товарищество и солидарность въ понятіяхъ о чести было рѣдкое; вѣрность, точничество, процвѣтавшее въ это время, презиралось нами, а о карьеризмѣ, какъ это процвѣтаетъ теперь, мы и понятія не имѣли. Конечно, протекція лицъ высокопоставленныхъ и разныхъ дядюшекъ и бабушекъ и тогда, какъ вездѣ и всегда, имѣла вѣское значеніе, но изъ насъ-то мало кто на это рассчитывалъ. Мы, право, скорѣе были идеалисты, мечтали о пользѣ родины, о самоотверженіи <sup>1)</sup>... О чинахъ, орденахъ, отличіяхъ, какъ это теперь у молодежи въ модѣ,— мало кто думалъ.

Въ концѣ 40-хъ годовъ и въ началѣ 50-хъ мы обратили вниманіе на Сибирь, особенно Восточную, куда скликалъ къ себѣ на службу образованную молодежь генераль-губернаторъ, Н. Н. Муравьевъ, впоследствии графъ Амурскій. Мы знали отъ товарищей, жившихъ въ Иркутскѣ, что на Дальнемъ Востоцѣ готовятся большія событія, но болѣе всего насъ привлекала туда популярная и симпатичная личность главнаго начальника края. Въ Западную Сибирь первыхъ охотниковъ далъ нашъ выпускной курсъ. Хотя безцвѣтная личность тогдашняго генераль-губернатора, Г. Хр. Гасфорта, мало притягивала насъ, но все-таки туда отправились «облагораживать край»,

---

<sup>1)</sup> Смотри въ сборникѣ писемъ Ф. М. Достоевскаго письмо его къ Майкову 1856 года.

какъ мы тогда выражались, мои однокашники: маркизь Н. де-Траверсе, Ѳ. А. Анненковъ, баронъ Александръ Штакельбергъ и Гюббенетъ, нынѣ всѣ умершіе.

Прослуживъ годъ въ министерствѣ юстиціи, и я весною 1854 года послѣдовалъ ихъ примѣру. Выбралъ я службу на самой глухой, дальней окраинѣ Юго-Западной Сибири, вблизи границъ Илійской губерніи, тогдашняго Китая, и владѣній бывшихъ ханствъ Кокана и Ташкента. Тогда только что учредили изъ юго-восточныхъ частей Киргизскихъ степей и юго-западныхъ частей Алтайскаго округа Семипалатинскую область. Исправляющій должность областного прокурора назывался: «стряпчій казенныхъ и уголовныхъ дѣлъ»—и это былъ я. Мнѣ только что минулъ 21 годъ. Житейской опытности и знанія дѣла никакого. Въ министерствѣ своемъ я ничему не научился, нашимъ практическимъ образованіемъ тамъ никто не занимался. Служба моя ограничивалась перепискою вздорныхъ бумагъ и составленіемъ самыхъ простыхъ отношеній, все болѣе серьезное и сложное дѣлалось опытными столоначальниками.

Меня особенно тянула въ эти дальнія, невѣдомыя страны моя страсть къ наукамъ, къ естественной исторіи, къ путешествіямъ и къ охотѣ. Сибирь въ то время была малоизвѣстна; о ней говорили тогда даже образованные люди, какъ о странѣ чуть ли не вѣчныхъ снѣговъ, юдоли и печали; благодаря мѣстамъ ссылки, ее называли «каторжной», и всѣ, кто ѣхалъ туда, считались чуть ли не пропавшими.

Да и направлялся-то туда на службу въ то время, за рѣдкими исключеніями, народъ дѣйствительно пропащій: пьяницы, взяточники, неспособные ни къ чему, искатели приключеній и сосланные на службу туда въ видѣ наказанія. Все это я зналъ, но слишкомъ понадѣялся на себя.

Въ іюлѣ 1854 года я покинулъ Петербургъ и отправился черезъ Москву въ мой длинный путь. Мое путешествіе, служба, пребываніе въ Тобольскѣ, посѣщеніе въ Ялуторовскѣ декабристовъ, товарищей моего отца, пребываніе въ Омскѣ, а также служба и приключенія въ Сибири вообще—будутъ когда-нибудь описаны особо въ моихъ воспоминаніяхъ. Главная цѣль этой статьи,—освѣтить періодъ моего сожителства съ незабвеннымъ *Ф. М. Достоевскимъ*. Въ Петербургѣ, живя до моего отъѣзда въ Сибирь, я знакомъ съ *Ф. М.* не былъ, но зналъ хорошо его любимаго брата, Михаила. До моего отъѣзда я побывалъ у него; узнавъ, что я направляюсь въ Семипалатинскъ, гдѣ уже находился въ это время сосланный туда *Ф. М.*, онъ поручилъ мнѣ передать брату письмо, немного бѣлья, книги и 50 рублей денегъ. Также взялъ я письмо къ *Ф. М.* отъ Аполлона Майкова.

Приѣхавъ въ Омскъ въ концѣ ноября, я *Ф. М.* тамъ не засталъ: онъ уже закончилъ свой срокъ каторги и былъ, какъ я узналъ, очень недавно переведенъ солдатомъ безъ выслуги въ Семипалатинскій № 7 батальонъ.

Вскорѣ по дѣламъ службы я водворился въ Семипалатинскѣ.

Судьбѣ было угодно ровно черезъ пять лѣтъ послѣ моего нахожденія на Семеновскомъ плацу, въ роковую минуту жизни *Ф. М.*, свести меня теперь съ нимъ, и уже на долгіе годы.

### **По дорогѣ въ Семипалатинскъ.—Первая встрѣча съ *Ф. М. Достоевскимъ*.**

По дорогѣ въ Семипалатинскъ я остановился въ Омскѣ. Тутъ я пробылъ недолго: ужъ слишкомъ было неудобно спать на билліардѣ и быть лишеннымъ малѣй-

шаго комфорта! По приѣздѣ моемъ въ Омскъ, единственная въ городѣ гостиница оказалась переполненной, и мнѣ предложили вмѣсто кровати биллиардъ. Ночью по нѣсколько разъ ко мнѣ врывалась пьяная компанія. Вскорѣ, впрочемъ, совершенно незнакомый мнѣ человѣкъ сжалился надо мной и предложилъ мнѣ переѣхать къ нему. Онъ оказался милѣйшей личностью,—бывшій студентъ Казанскаго университета, нѣкто Крамеръ, молодой чиновникъ.

Я представился генераль-губернатору Г. Х. Гасфорту, пріятелю многихъ моихъ родныхъ. Вотъ характеристика Гасфорта и военнаго губернатора генерала Фридрихса изъ сохранившагося моего письма къ отцу отъ 8-го декабря 1854 года.

«Онъ принялъ меня свысока, руки не далъ, хотя и пригласилъ обѣдать. Онъ такъ пусть и глупъ, что много говорить о немъ не буду. *C'est une encyclopédie renversée, un homme qui se croit presque l'Empereur ici lui-même. Il a beaucoup lu, mais ne connaît pas la vie pratique; sa tête est vide comme un tonneau.* Онъ, пожалуй, и желалъ бы добра краю, да взяться не умѣетъ. Здѣсь слово его—законъ и ему оказываютъ чуть не божеское почитаніе. Вашъ товарищъ когда-то, добрый мой папенька, военный губернаторъ Киргизской области, генераль-майоръ Фридрихсъ, добрый, отличный человѣкъ, но глупъ, какъ пробка. Доклады выслушиваетъ стоя, играя на флейтѣ. Поднесенныя ему для подписи бумаги вѣсить на безмѣнѣ и потомъ хвастаетъ, сколько пудовъ ему нужно было подписывать за недѣлю,—словомъ, мой Адамка былъ бы такимъ же военнымъ губернаторомъ. Я не выдумываю, папенька, а пишу вамъ сущую правду».

Вечеромъ у супруги Гасфорта, урожденной Львовой, племянницы извѣстнаго нашего композитора

Алексѣя Ѳедоровича Львова, собирались сливки мѣстнаго общества. Меня поразила безвкусица дамскихъ старомодныхъ туалетовъ и особенно чинопочитаніе и натянутость отношеній. На генераль-губернатора смотрѣли съ умиленіемъ и страхомъ. А впрочемъ, въ тѣ времена генераль-губернаторъ былъ самодержецъ, неограниченный владыка. Здѣсь я познакомился съ г-жею Ивановой, оказавшей много добра Достоевскому въ его бытность на каторгѣ. Она была дочь декабриста Анненкова и супруги его, француженки Прасковьи Ивановны, послѣдовавшей въ числѣ нѣкоторыхъ женъ декабристовъ за ними на каторгу. Мужъ г-жи Ивановой былъ начальникъ жандармовъ. Г-жа Иванова была чудная, добрая женщина, высокообразованная, защитница несчастныхъ, особенно политическихъ. Ѳ. М. Достоевскаго она и мать ея знали еще въ Tobольскѣ, куда его привезли въ началѣ 1850 года, послѣ приговора. Tobольскъ тогда былъ центръ, куда собирали изъ всей Россіи осужденныхъ, тамъ находился «Главный приказъ о ссыльныхъ». Оттуда уже ихъ разсылали по всей Сибири. Въ Tobольскѣ г-жа Иванова снабдила Ѳ. М. бѣльемъ, книгами и деньгами. Продолжала она свои заботы о немъ и въ Омскѣ, чѣмъ во многомъ облегчила его пребываніе на каторгѣ. Когда я въ 1856 г. возвращался въ Петербургъ, то Ѳ. М. горячо поручалъ мнѣ побывать у нея и поблагодарить за все добро, оказанное ему, что я и сдѣлалъ.

Первое время на каторгѣ Ѳ. М. нуждался во всемъ. Деньги, данныя ему братомъ, скоро вышли, а у всякаго интеллигентнаго арестанта невольно найдутся разные мелкіе расходы. Впрочемъ, конечно, тогда все было дешевле: 1 фунтъ табаку 3 копѣйки, мѣсто въ банѣ—1½ копѣйки, фунтъ мяса—грошъ. Всякое малѣйшее послабленіе арестанты оплачивали деньгами.

Были и такіе начальники, которые изъ присылаемыхъ арестантамъ родными суммъ совершенно открыто половину удерживали себѣ. Конечно, многія тюремныя строгости обходились зачастую при помощи подачекъ сторожамъ. На этомъ основаніи допускались и «калачницы», большею частью молодыя бабы, продававшія калачи арестантамъ у воротъ острога. Здѣсь же завязывались романы, развязка коихъ происходила во время работъ въ укромныхъ мѣстечкахъ. Любовныя похождения арестантовъ обходились дешево—2—3 гроша бабѣ.

Здѣсь кстати будетъ опровергнуть нѣкоторыя существующія легенды по поводу Федора Михайловича во время его пребыванія на каторгѣ.

Скажу по совѣсти, что въ большинствѣ случаевъ отношенія и начальства и всего образованнаго общества къ «политическимъ» было въ то время значительно благодушнѣе и гуманнѣе. Сибирь во времена государя Николая Павловича была переполнена политическими ссыльными, русскими и поляками; эти «политическіе» были все люди образованные, идейные, либеральные, серьезные люди. Отношеніе же къ Ф. М. Достоевскому было полно особаго сочувствія. Могу засвидѣтельствовать со словъ самого Ф. М., что ни на каторгѣ, ни въ бытность его безсрочнымъ солдатомъ его никогда никто изъ начальства или товарищей каторжниковъ, или солдатъ—пальцемъ не тронулъ, и все появлявшееся объ этомъ въ печати—несомнѣнно вымыселъ. Какъ часто мнѣ приходилось слышать предположенія, что тѣлесныя-то наказанія будто бы и довели Ф. М. до припадковъ, и эта легенда такъ и осталась въ умахъ многихъ. Въ «Русской Старинѣ» 1883 года (стр. 156) прочелъ я, между прочимъ, за подписью нѣкоего Г. Е—ъ, рассказъ, какъ онъ самъ видѣлъ Ф. М. сгребавшимъ съ другими арестантами



снѣгъ на улицахъ Красноярска, но Достоевскій и въ Красноярскѣ-то не былъ, а жилъ только въ Омскѣ и Семипалатинскѣ.

Въ срединѣ ноября 1854 года я отправился въ Семипалатинскъ. Дорога шла прямая на югъ вдоль Иртыша, голою необозримою Киргизскою степью. Нигдѣ ни рощъ, ни холмовъ не видно,—полное тоскливое однообразіе природы. То тамъ, то сямъ чернѣютъ юрты киргизовъ, тянутся вереницы верблюдовъ, да изрѣдка проскачетъ всадникъ. Мы подвигались быстро. Спутникомъ моимъ былъ кривоглазый чухонецъ Адамъ, крѣпостной, котораго отецъ далъ мнѣ въ качествѣ камердинера. Адамъ былъ хорошій портной, и онъ-то сшилъ *Ө. М.* первое штатское платье, когда мы поѣхали на свиданіе въ Змѣиногорскъ, къ первой его женѣ, тогда еще г-жѣ Исаевой. Достоевскій, кромѣ сѣрой солдатской шинели, ничего изъ одежды другого не имѣлъ.

Но вернусь къ моему путешествію. На почтовыхъ станціяхъ въ казацкихъ станицахъ (въ Сибири вдоль границы поселены были линейные сибирскіе казаки) ѣсть было нечего. Кромѣ чаю и хлѣба, ничего не было и меня спасли отъ голода замороженныя щи и пельмени, взятыя на дорогу въ Омскѣ.

20-го ноября свѣтлою, морозною лунною ночью, проѣхавъ версты три сосновымъ боромъ, достигли мы наконецъ цѣли моего длиннаго путешествія. Нѣсколько тысячъ верстъ раздѣляло меня отъ Петербурга, отъ родного крова! Семипалатинскъ въ то время былъ ни городъ, ни деревня, а нѣчто среднее. Одноэтажныя, бревенчатыя, приземистыя домишки, безконечныя заборы, на улицѣ ни одного фонаря, ни сторожей, ни одной живой души, и если бы не отчаянный лай собакъ, городъ показался бы вымершимъ. Онъ кишѣлъ собаками, которыя охраняли жи-

телей и исполняли санитарную часть. Служителей полиціи въ теченіе двухъ лѣтъ моего пребыванія въ С.—я не видѣлъ, кромѣ Базилевича, носившаго громкое званіе полицеймейстера. Гостиниць въ то время въ Семипалатинскѣ не было. Пріѣзжимъ отводилась по очереди квартира въ лучшихъ домахъ обывателей, и нужно сказать, что хозяева принимали очень радушно и хлѣбосольно пріѣзжихъ, особенно изъ столицы. «Какъ же, батюшка, не радоваться вамъ»,—говорили они,—«вѣдь безъ васъ не знали бы, не вѣдали, что и творится на бѣломъ свѣтѣ». Они всячески старались задержать случайнаго гостя какъ можно долѣе. Газета въ Сибири въ то время была рѣдкостью, очень немногіе ее выписывали. Она переходила изъ рукъ въ руки, а въ день прихода почты, разъ въ недѣлю, собирались у знакомаго, получавшаго ее, чтобы узнать, что творится въ Крыму—подъ Севастополемъ.

Меня завезли къ какому-то богатому казаку и помѣстили въ двухъ маленькихъ комнатахъ, жарко натопленныхъ, по-сибирски. Полы и стѣны были обшиты кошмами. На стѣнахъ висѣли лубочныя картины безъ рамокъ, въ родѣ: «Какъ мыши кота хоронили» или «Герои 12-го года, скачущіе на коняхъ». Поставили самоваръ. Кривоглазый мой Адамъ вынесъ чемоданы, и залегъ я спать на свое складное кресло-кровать, боясь быть заѣденнымъ на хозяйской кровати блохами и клопами, за которыхъ впередъ уже извинилась хозяйка, полу-казачка, полу-киргизка съ узкими хитрыми глазами, скуластая и вся пропахшая запахомъ кумыса (къ кумысу, впрочемъ, я современемъ пристрастился). Миѣ не спалось, мысли переносились далеко-далеко: думалось о милыхъ своихъ, о той средѣ, въ которой придется жить, работать, а какая это была среда,—я успѣлъ уже нагля-

дѣться и наслушаться въ Tobольскѣ, Ялуторовскѣ и Омскѣ. Что-то дастъ мнѣ моя добровольная ссылка?.. Долго не могъ я заснуть.

На другой день, разобравъ свои чемоданы, я натянулъ мундиръ особой красивой формы, придуманный Г. И. Гасфортомъ, припоясаль саблю и отправился къ военному губернатору области, Петру Михайловичу Спиридонову. Онъ немедленно послалъ своего адъютанта искать мнѣ квартиру, а такъ какъ онѣ были наперечетъ, то черезъ нѣсколько часовъ я уже перебрался въ свой новый «home», разложился, поѣхалъ обѣдать къ губернатору, разузналъ гдѣ и какъ разыскать Ѳ. М. Достоевскаго и послалъ просить его къ себѣ вечеромъ пить чай. Достоевскій въ то время жилъ уже въ своей частной квартирѣ-лачугѣ.

Достоевскій не зналъ, кто и почему его зовутъ, и, войдя ко мнѣ, былъ крайне сдержанъ. Онъ былъ въ солдатской сѣрой шинели, съ краснымъ стоячимъ воротникомъ и красными же погонами, угрюмъ, съ болѣзненно-блѣднымъ лицомъ, покрытымъ веснушками. Свѣтло-русые волосы были коротко острижены, ростомъ онъ былъ выше средняго. Пристально оглядывая меня своими умными, сѣро-синими глазами, казалось, онъ старался заглянуть мнѣ въ душу, — что молъ я за человѣкъ? Онъ признался мнѣ впослѣдствіи, что былъ очень озабоченъ, когда посланный мой сказалъ ему что его зоветъ «г-нъ стряпчій уголовныхъ дѣлъ». Но когда я извинился, что не самъ первый пришелъ къ нему, передалъ ему письма, посылки и поклоны и сердечно разговорился съ нимъ, онъ сразу измѣнился, повеселѣлъ и сталъ довѣрчивъ. Часто послѣ онъ говорилъ мнѣ, что, уходя въ этотъ вечеръ къ себѣ домой, онъ инстинктивно почуялъ, что во мнѣ онъ найдетъ искренняго друга.

Читая письма брата и сестеръ, я помню, онъ прослезился, а на меня въ то же время нашло опять то чувство отчаянія, жуткой тоски и одиночества, которое такъ нерѣдко со времени моего длиннаго странствованія нападало на меня. Во время моей бесѣды съ *Θ. М.* я получилъ собравшуюся цѣлую груду писемъ изъ Петербурга отъ моихъ близкихъ, родныхъ и друзей. Порывисто вскрывъ ихъ, я набросился на нихъ и, читая ихъ, вдругъ разрыдался; былъ я въ то время юноша экспансивный, очень привязанный къ семьѣ своей. Мнѣ такъ показалась невыносимой моя оторванность отъ всего дорогого и сдѣлалось такъ жутко за будущее! Мы оба стояли другъ передъ другомъ, оба забытые судьбой, одинокіе... Мнѣ такъ было тяжело, что я, несмотря на высокое мое званіе «господина областного стряпчаго по уголовнымъ дѣламъ», какъ-то невольно, недолго думая, бросился на шею стоявшему передо мной съ устремленнымъ на меня грустнымъ, задумчивымъ взоромъ *Федору Михайловичу*. Онъ сердечно приласкалъ меня, дружески, горячо, какъ старому знакомому, пожалъ мнѣ руку, и мы дали слово какъ можно чаще видѣться.

***Θ. М. Достоевскій—солдатъ Сибирскаго линейнаго № 7 батальона. — Наше семипалатинское житье-бытье.***

Весною 1854 года, по освобожденіи изъ каторги, *Достоевскій*, какъ извѣстно, былъ переведенъ солдатомъ безъ выслуги въ Семипалатинскъ, куда и былъ доставленъ по этапу вмѣстѣ съ другими. Первое время, очень недолго, онъ жилъ вмѣстѣ съ солдатами въ казармѣ, но вскорѣ, по просьбѣ ген. Иванова и другихъ,—ему разрѣшили жить особо, близъ ка-

зармъ, за отвѣтственностью его ротнаго командира, Степанова. Онъ, кромѣ того, состоялъ подъ наблюденіемъ своего фельдфебеля, который за малую «мзду» не особенно часто беспокоилъ его.

Первое время было для него трудное—полное одиночество... Но, мало-по-малу, онъ познакомился съ нѣкоторыми офицерами и чиновниками, хотя былъ далекъ отъ тѣснаго сближенія съ ними. Конечно, послѣ каторги новое его положеніе, тяжелое съ матеріальной стороны, все же, благодаря относительной свободѣ, казалось ему раемъ: такъ онъ самъ мнѣ говорилъ. Какъ это большею частью бываетъ при собственной женщинамъ душевной чуткости и сердечности, имъ заинтересовались и приняли горячее участіе нѣсколько интеллигентныхъ дамъ города, и въ особенности Марія Дмитріевна Исаева и жена его ротнаго командира Степанова. Самъ командиръ былъ горьчайшій пьяница, за что и былъ удаленъ изъ Петербурга. Степанова пописывала стихи, которые Ѳ. М. долженъ былъ читать и исправлять. М. Д. Исаева, какъ извѣстно, овдовѣвъ, впослѣдствіи стала женою Достоевскаго.

Прошу читателя этихъ воспоминаній извинить меня, если я иногда вынужденъ буду говорить о себѣ. Наша совмѣстная съ Ѳ. М. жизнь требуетъ этого. Придется также дѣлать характеристику разныхъ неприглядныхъ лицъ и приводить бытовыя картинки, быть можетъ недостаточно интересныя, но все это необходимо, чтобы нарисовать ту среду, въ которой мы жили, и наглядно показать какъ тяжело, безпросвѣтно и уныло было жить въ ней молодымъ, полнымъ жизни и умственныхъ запросовъ людямъ. Кромѣ того, описанія нѣсколькихъ мѣстныхъ, своеобразныхъ картинъ, быть можетъ, покажутся небезинтересными читателю.

Семипалатинскъ лежитъ на правомъ высокомъ берегу Иртыша, широкой рыбной рѣки, тогда еще не видавшей не только пароходовъ, но и барокъ-то на ней не бывало. Городъ получилъ свое названіе отъ семи палатъ, развалины которыхъ еще существовали въ XVIII столѣтіи и изображены въ описаніи путешествій ученаго натуралиста Палласа. Въ мое время и слѣдовъ не было отъ этихъ руинъ. Древній Семипалатинскъ былъ, вѣроятно, монгольскій городъ, такъ какъ при раскопкахъ найдены были мѣдныя изображенія Будды, бараньи лопатки съ монгольскими письменами и предметы буддійскаго культа. За неимѣніемъ въ древности бумаги, писали на бараньихъ лопаткахъ.

Въ мое время Семипалатинскъ, какъ я уже сказалъ выше, былъ полу-городъ, полу-деревня. Всѣ постройки были деревянныя, бревенчатыя, очень немногія обшиты досками. Жителей было 5—6 тысячъ человѣкъ вмѣстѣ съ гарнизономъ и азіатами, кокандскими, бухарскими, ташкентскими и казанскими купцами. Полуосѣдлые киргизы жили на лѣвомъ берегу, большею частью въ юртахъ, хотя у нѣкоторыхъ богачей были и домишки, но только для зимовки. Ихъ насчитывали тамъ до трехъ тысячъ.

Въ городѣ была одна православная церковь, единственное каменное зданіе, семь мечетей, большой мѣновой дворъ, куда сходились караваны верблюдовъ и вьючныхъ лошадей, казармы, казенный госпиталь и присутственныя мѣста. Училищъ, кромѣ одной уѣздной школы, не было. Аптека—даже и та была казенная. Магазиновъ, кромѣ одного галантерейнаго, гдѣ можно было найти все,—отъ простого гвоздя до парижскихъ духовъ и склада суконъ и матерій,—никакихъ: все выписывалось съ Ирбитской и Нижегородской ярмарокъ; о книжномъ магазинѣ и говорить нечего,—некому было читать. Я думаю,

во всемъ городѣ газеты получали человѣкъ 10—15, да и немудрено,—люди въ то время въ Сибири интересовались только картами, попойками, сплетнями и своими торговыми дѣлами. Не забывайте, что въ это время шла Крымская война, но ею мало интересовались: ужь слишкомъ было далеко, да это и не было свое «сибирское» дѣло. Сибиряки держали себя тогда особнякомъ и говорили: «онъ изъ Россіи».

Я выписалъ три газеты: «С.-Петербургскія Академическія Вѣдомости», «Augsburger Allgemeine Zeitung», «Indépendance Belge», къ великому удовольствію *Ө. М.*, который съ особенной любовью читалъ «Indépendance Belge», не говоря уже о русской газетѣ. «Augsburger Zeitung» онъ не трогалъ, мало понимая тогда по-нѣмецки и не любя этого языка.

Семипалатинскъ дѣлится на три части, раздѣленные песчаными пустырями. На сѣверъ лежала казачья слободка, самая уютная, красивая, чистая и благообразная часть Семипалатинска. Тамъ былъ скверъ, сады, довольно приглядныя зданія полкового командира, штаба полка, военного училища и больницы. Казармъ для казаковъ не было—всѣ казаки жили въ своихъ домахъ и своимъ хозяйствомъ.

Южная часть города, татарская слобода, была самая большая; тѣ же деревянные дома, но съ окнами на дворъ,—ради женъ и гарема. Высокіе заборы скрывали отъ любопытныхъ глазъ внутреннюю жизнь обывателя-магометанина; кругомъ домовъ ни одного дерева,—чистая песчаная пустыня. Вообще во всемъ Семипалатинскѣ не было ни одной мощеной улицы, но мало и грязи, такъ какъ сыпучій песокъ быстро всасывалъ воду. За то ходить было трудно, увязая по щиколку въ песокъ, а лѣтомъ, съ палящей жарой въ 30° въ тѣни, просто жгло ногу въ раскаленномъ песокѣ.

Среди этихъ двухъ слободъ, сливаясь съ ними въ одно, лежалъ собственно русскій городъ съ частью, именовавшеюся еще крѣпостью, хотя о ней въ то время уже и помину не было. Валы были давно снесены, рвы засыпаны пескомъ, и только на память оставлены большія каменныя ворота. Здѣсь жило все военное: помѣщался линейный батальонъ, конная казачья артиллерія, все начальство, главная гауптвахта и тюрьма,—мое вѣдомство. Ни деревца, ни кустика, одинъ сыпучій песокъ, поросшій колючками.

Здѣсь жилъ и Достоевскій. У меня сохранился рисунокъ его хаты.

Я жилъ на самомъ берегу Иртыша, близъ губернатора; неподалеку былъ островъ съ огородами и бахчами дынь и арбузовъ. Противъ моихъ оконъ, по ту сторону рѣки, было киргизское поселеніе и разстилалась необозримая степь съ синими горами Семитау, за 70 верстъ вдали на горизонтѣ. Хозяинъ мой, полу-киргизъ, купецъ Степановъ, добрый, услужливый, привѣтливый,—дѣлалъ все возможное, чтобы быть мнѣ и пріятнымъ и полезнымъ. Онъ отлично говорилъ по-татарски и по-киргизски, вель дѣла въ степи и зналъ всѣхъ и все. Мать его, пожилая киргизка, хозяйствовала. Проведя свою молодость въ богатомъ домѣ золотопромышленника Попова, она отлично стряпала. Я платилъ за квартиру въ три комнаты съ переднею, конюшнею, сараемъ и еще помѣщеніемъ для 3-хъ людей, за нашу ѣду, отопленіе—30 р. въ мѣсяць. О. М. за свое помѣщеніе, стирку и ѣду 5 руб. Но какая вообще была его ѣда! На приварокъ солдату отпускалось тогда 4 коп., хлѣбъ особо. Изъ этихъ 4 копѣекъ ротный командиръ, кашеваръ и фельдфебель удерживали въ свою пользу 1½ коп. Конечно, жизнь тогда была дешева: одинъ фунтъ



мяса стоилъ грошъ, 1 пудъ гречневой крупы 30 коп.  $\Theta$ . М. бралъ домой свою ежедневную порцію щей, каши и чернаго хлѣба и, если самъ не съѣдалъ, то давалъ своей бѣдной хозяйкѣ. Эти же  $1\frac{1}{2}$  коп., удержанные съ каждаго солдата, въ мѣсяць составляли 45 коп. съ человѣка, а въ ротѣ было 120 чел.—стало быть 62 руб. въ мѣсяць, въ годъ 744 руб. Часть этихъ денегъ приходилась на долю батальоннаго командира, но, кромѣ того, онъ имѣлъ еще доходъ отъ заготовокъ и амуниціи, отопленія, ремонта казармъ и припека хлѣба. Никто этого не скрывалъ, и Бѣликовъ, батальонный командиръ, самъ говорилъ, что собиралъ съ батальона пять, шесть тысячъ въ годъ.

Правда,  $\Theta$ . М. часто обѣдалъ у меня, да и знакомые его приглашали. Хата Д. находилась въ самомъ безотрадномъ мѣстѣ. Кругомъ пустырь, сыпучій песокъ, ни куста, ни дерева. Изба была бревенчатая, древняя, скривившаяся на одинъ бокъ, безъ фундамента, вросшая въ землю, и безъ единого окна наружу, ради опасенія отъ грабителей и воровъ. Два окна его комнаты выходили на дворъ, обширный, съ колодцемъ и журавлемъ. На дворѣ находился небольшой огородикъ съ парюю кустовъ дикой малины и смороды. Все это было обнесено высокимъ заборомъ съ воротами и низкою калиткою, въ которую я всегда влѣзалъ нагибаясь,—тоже исторически установившійся въ то время расчетъ строить низкія калитки: дѣлалось это, какъ мнѣ говорили, для того, чтобы легче рубить наклоненную голову случайно ворвавшагося врага. Злая цѣпная собака охраняла дворъ и на ночь спускалась съ цѣпи.

У Достоевскаго была одна комната, довольно большая, но чрезвычайно низкая; въ ней царствовалъ всегда полумракъ. Бревенчатыя стѣны были смазаны глиной и когда-то выбѣлены; вдоль двухъ стѣнъ шла

широкая скамья. На стѣнахъ, тамъ и сямъ лубочныя картинки, засаленныя и засиженныя мухами. У входа налѣво отъ дверей большая русская печь. За нею помѣщалась постель Ѳ. М., столикъ и, вмѣсто комода, простой досчатый ящикъ. Все это спальное помѣщеніе отдѣлялось отъ прочаго ситцевою перегородкою. За перегородкой въ главномъ помѣщеніи стоялъ столъ, маленькое въ рамѣ зеркальце. На окнахъ красовались горшки съ геранью и были занавѣски, вѣроятно, когда-то красныя. Вся комната была закопчена и такъ темна, что вечеромъ съ салъною свѣчою,—стеариновыя тогда были большою роскошью, а освѣщенія керосиномъ еще не существовало,—я еле-еле могъ читать. Какъ при такомъ освѣщеніи Ѳ. М. писалъ ночи напролетъ,—рѣшительно не понимаю. Была еще пріятная особенность его жилья: тараканы стаями бѣгали по столу, стѣнамъ и кровати, а лѣтомъ особенно блохи не давали покоя, какъ это бываетъ во всѣхъ песчаныхъ мѣстностяхъ.

Съ каждымъ днемъ мы ближе и ближе сходились съ Ѳ. М. Онъ сталъ все чаще и чаще заходить ко мнѣ во всякое время дня, насколько позволяла его солдатская и моя чиновничья служба, зачастую обѣдалъ у меня, но особенно любилъ заходить вечеромъ пить чай—безконечные стаканы—и курить мой «Бостанжогло» (тогдашняя табачная фирма) изъ длиннаго чубука. Самъ же онъ обыкновенно, какъ и большинство въ Россіи, курилъ «Жукова». Но часто и это ему было не по карману, и онъ тогда примѣшивалъ самую простую махорку, отъ которой послѣ cadaго визита моего къ нему у меня адски болѣла голова.

Моя дружба съ Достоевскимъ скоро обратила на себя вниманіе кого слѣдуетъ. Я замѣтилъ, что письма мои я получалъ двумя, тремя днями позже послѣ раз-

дачи другимъ, замѣтилъ, что недоброжелатели мои,— а ихъ между взяточниками-чиновниками было не мало—съ сарказмомъ разспрашивали меня о Достоевскомъ, выражая свое удивленіе, что я вожусь съ солдатомъ. Самъ губернаторъ вскорѣ предостерегъ меня, опасаясь, ввиду моей молодости, вліянія на меня Достоевскаго, какъ революціонера.

Военный губернаторъ области, какъ я выше уже сказалъ, былъ П. М. Спиридоновъ, добрѣйшій человѣкъ, простякъ, гуманный и въ высшей степени хлѣбосоль. Благодаря своему высокому положенію, онъ былъ, конечно, первое лицо въ городѣ. Я очень скоро сдѣлался у него своимъ человѣкомъ, обѣдалъ черезъ день и пріобрѣлъ его полное довѣріе. Онъ встрѣчалъ Достоевскаго то тамъ, то сямъ и, кажется, самъ даже ходатайствовалъ за него у батальоннаго командира по просьбамъ изъ Омска. Желая, во что бы то ни стало, дать ему возможность ближе узнать и оцѣнить Достоевскаго, я попросилъ разрѣшенія ввести Ѳ. М. къ нему въ домъ. Онъ помолчалъ, подумалъ и сказалъ: «Ну, ну, приходи съ нимъ, да за просто, въ шинели, скажи ему».

Вскорѣ Спиридоновъ искренно полюбилъ Достоевскаго,—онъ сдѣлался у него своимъ человѣкомъ; гдѣ только могъ, Спиридоновъ ему помогалъ и вообще былъ ему полезенъ. Примѣръ, данный военнымъ губернаторомъ, открылъ Достоевскому доступъ ко всему высшему обществу богоспасаемаго града Семипалатинска. Скоро онъ сдѣлался домашнимъ человѣкомъ даже у своего батальоннаго командира, Бѣликова, къ которому являлся, какъ и всюду, въ своей сѣрой солдатской шинели. Впрочемъ, другого одѣянія, кромѣ еще куцаго безобразнаго мундира, у него тогда и не было,—не на что было справиться. Бѣликовъ былъ преоригинальная личность, достойная

быть описанною. Главное его качество было хлѣбосольство и добродушіе. Онъ происходилъ изъ кантонистовъ. Очень маленькій ростомъ, съ круглымъ брюшкомъ, юркій и подвижный, съ большимъ краснымъ носомъ, говорилъ всѣмъ «ты, батюшка» и готовъ былъ первому встрѣчному отдать послѣднюю рубашку. Всегда на-веселѣ, любилъ карты и особенно прекрасный полъ, но выборъ его не шель далѣе солдатскихъ женъ и дочерей, при чемъ ихъ отцы и мужья обожали его: «Намъ онъ отецъ родной, самъ онъ изъ нашихъ»,— говорили они и горько плакали, когда командиръ спустилъ ихъ батальонныя суммы и застрѣлился.

Бывали мы часто съ  $\Theta$ . М. по вечерамъ и у полковника Мессароша, командира линейнаго казачьяго полка. Это былъ человѣкъ довольно воспитанный, съ замашками на аристократизмъ, холостой. Хозяйство его вела привезенная имъ изъ Россіи довольно милая, образованная подруга, всегда любезно принимавшая гостей. У Мессароша не пьянствовали, но за то шла страшная игра. Ни  $\Theta$ . М., ни я картъ въ руки не брали. Мессарошъ завелъ у себя въ полку хоръ трубачей, выписавъ трубы изъ Нижняго; тогда все, даже фортепяно, выписывали съ ярмарки. Капельмейстеромъ онъ взялъ ссыльнаго выкреста, польскаго еврейчика. Преуморительная это была фигура! Тщедушный, черный, какъ жукъ, съ типичнымъ носомъ и тоненькими-претоненькими ножками, онъ весь какъ-то уходилъ въ свой казенный казацкій кафтанъ, а когда садился на лошадь предъ трубаками, такъ это была чистая умора. Послѣ долгихъ, усиленныхъ трудовъ, разучить удалось и только и игралось: одинъ маршъ, одна полька, галопъ, вальсъ и болѣе ничего. Гимна я никогда не слыхалъ.

Былъ еще домъ, который посѣщаль  $\Theta$ . М.,—это домъ начальника округа и вмѣстѣ съ тѣмъ и окруж-

наго суда; жена его была очень милая и красивая женщина; онъ самъ, когда-то блестящій гвардейскій офицеръ, теперь опустился, пилъ горькую, изводилъ жену ревностью и развилъ у себя въ судѣ такое взяточничество, что мнѣ непрерывно приходилось съ нимъ препираться, требовать объясненія и не пропускать его журналовъ, дѣлъ. Дѣтей у него не было, жена его страшно скучала, всегда очень радовалась приходу *Θ. М.*; онъ меня усиленно тащилъ къ нимъ въ домъ, но я въ то время былъ большой нелюдимъ и ограничивался только праздничными официальными визитами.

Была и еще одна «особа» въ городѣ,—начальникъ таможенного округа *Армстронгъ*, гордый, надутый нѣмецъ. Онъ выступалъ, какъ павлинъ, любуясь собой, ни на минуту не забывая своего высокаго положенія, ни у кого никогда не бывалъ, всѣхъ и вся ругалъ и презиралъ. Имѣя къ его женѣ письмо (она была саксонка изъ Дрездена), я въ одно изъ посѣщеній привелъ къ нему и *Достоевскаго*, представивъ его; но онъ его принималъ такъ сухо, а мнѣ сдѣлалъ такую кислую рожу, что больше нога моя не переступала его порога. *Достоевскій* его ненавидѣлъ, острилъ на его счетъ и иначе не называлъ, какъ «благородный *Армстронгъ*».

Изъ молодежи было два-три артиллериста-офицера, два адъютанта, да не болѣе двухъ чиновниковъ, съ которыми можно было еще поговорить и не зазорно вести знакомство.

Развлеченій въ *Семипалатинскѣ* не было никакихъ. За два года моего пребыванія туда не заглянулъ ни одинъ проѣзжій музыкантъ, да и фортепіано было только одно въ городѣ, какъ рѣдкость. Не было даже и примитивныхъ развлеченій, хотя бы вродѣ балагана или фокусника. Разъ, помню, писаря батальона

устроили въ манежѣ представленіе, играли какую-то пьесу. Достоевскій помогаль имъ совѣтами, повелъ и меня смотрѣть. Кажется, весь городъ собрался, особенно любопытный прекрасный полъ; манежъ былъ набить... И кончилось это удовольствіе скандаломъ. Въ антрактѣ, въ видѣ дивертисмента, вышли солисты-писаря и, думая позабавить публику, запѣли такія сальныя пѣсни, преподнесли такіе срамныя куплеты, что дамы бросились бѣжать, а Бѣликовъ и офицеры пришли въ неистовый восторгъ и буквально гоготали отъ удовольствія. Повидимому, эти пѣсни и куплеты были излюбленные сибирскіе, такъ какъ въ 1859 году я ихъ вновь услышалъ въ бытность мою въ Хабаровскѣ, на подобномъ же солдатскомъ праздникѣ, и также къ вящей радости сибирскаго бонда.

Не помню ни одной вечеринки съ танцами, ни одного пикника или общественной прогулки. Все жило большею частью особнякомъ, чуждалось другъ друга. Мужчины пили, ѣли, играли, скандалили и ѣздили по гостямъ къ богатымъ татарамъ. Жены сплетничали.

Въ городѣ находилось еще нѣсколько политическихъ ссыльныхъ-поляковъ и бывшихъ венгерскихъ офицеровъ (изъ нашихъ поляковъ). Послѣ сдачи намъ Гергеемъ въ 1848 г. своей арміи, государь Николай Павловичъ приказалъ этихъ офицеровъ арміи, въ сущности нашихъ плѣнниковъ, сослать попросту на поселеніе, какъ бывшихъ своихъ подданныхъ. Поляки жили очень замкнуто, особнякомъ и съ русскими не водились. Богатые между ними заботились о своихъ бѣдныхъ братьяхъ, и вообще между ними была большая солидарность. О. М. недолюбливалъ и избѣгалъ ихъ, и мы познакомились только съ однимъ бывшимъ инженеромъ, Гиршфельдомъ, который при-

ходилъ изрѣдка разнообразить нашу монотонную жизнь.

Мы оба въ карты не играли, виномъ не упивались, кромѣ обычной рюмки передъ обѣдомъ илиужиномъ. Только разъ видѣлъ я  $\Theta$ . М. навеселѣ, и то, такъ сказать, по службѣ. Приѣхаль въ Семипалатинскъ на смотръ казацкаго полка бригадный генераль Хомянтовскій, образованный, милый человекъ, но любившій кутнуть. Достоевскій ему понравился сразу, и вотъ бригадный генераль беретъ къ себѣ на квартиру солдата Достоевскаго, выпиваетъ съ нимъ, забираетъ двухъ своихъ милыхъ сестрицъ, прихватываетъ три бутылочки настоящей «*Veuve Cluquot*», и всей компаніей жалуютъ ко мнѣ. Хомянтовскій былъ храбрый кавалерійскій офицеръ, удивительно находчивый; чего-чего не рассказывали о его находчивости! Вотъ, напримѣръ, интересный военный эпизодъ. У насъ нерѣдко происходили военныя столкновения съ киргизами, принадлежавшими Китаю и ханству Ташкентскому. Они нападали на нашихъ мирныхъ киргизовъ. Еще задолго до моего появленія на семипалатинскомъ горизонтѣ, къ нимъ перебѣжалъ отъ насъ знаменитый Кени-сара, игравшій въ Киргизскихъ степяхъ роль кавказскаго Шамиля,—онъ былъ грозою нашихъ владѣній. Наконецъ, послѣ долгихъ усилій, его аулъ былъ взятъ нашимъ отрядомъ, но онъ самъ бѣжалъ въ неприступныя горы, къ племени кара-киргизовъ, на берега громаднаго озера Иссык-Куля; сыновья его были взяты въ плѣнъ, но одинъ изъ нихъ бѣжалъ къ своимъ соплеменникамъ, подданнымъ Ташкента и Кокана, и откуда непрестанно тревожилъ насъ набѣгами. Самъ батыръ, Кени-сара, погибъ трагическою смертию. Въ одной изъ стычекъ съ кара-киргизами нашъ летучій отрядъ, состоявшій изъ роты солдатъ, двухъ орудій и казацкой кавалеріи,

преслѣдуя непріятеля, раскинулся лагеремъ, а Хомянтовскій съ сотнею казаковъ, увлекшись, отдалился верстъ на 30 отъ стоянки отряда и неожиданно въ холмистой мѣстности былъ окруженъ нѣсколькими тысячами всадниковъ. Иного спасенія, казалось, не было, какъ только быстрое отступленіе. Отрядъ шелъ на утекъ вскачь, по слѣдамъ его неслись противники; еще моментъ, и должна была произойти отчаянная схватка,—силы были далеко не равныя, грозило неминуемое пораженіе. Вдругъ Хомянтовскому пришла въ голову слѣдующая мысль. Зная паническій страхъ, который овладѣвалъ обыкновенно киргизами при одномъ видѣ пушекъ (мултукъ-шайтанъ или дьявольское ружье, какъ говорили они), Хомянтовскій, къ сожалѣнію не имѣя ихъ съ собою, недолго думая, остановилъ отрядъ, схватилъ бывшіе подъ рукой при отрядѣ два горѣвшихъ, какъ жаръ, мѣдныхъ самовара и направилъ на непріятеля. День былъ ясный, солнечный, и надо думать, что отражавшіеся на ярко блиставшихъ самоварахъ лучи солнца напомнили непріятелю наши мѣдные «единороги». Киргизы опѣшили, какъ бы замерли и вдругъ вихремъ понеслись обратно.

Но вернусь къ нашему житью-бытью. По мѣрѣ сближенія съ Достоевскимъ все тѣснѣе, отношенія наши стали самыя простыя и безыскусственныя,—двери мои для него всегда были открыты, днемъ и ночью. Часто, возвращаясь домой со службы, я заставалъ у себя Достоевскаго, пришедшаго уже ранѣе меня или съ ученія или изъ полковой канцеляріи, въ которой онъ исполнялъ разныя канцелярскія работы. Разстегнувъ шинель, съ чубукомъ во рту, онъ шагаль по комнатѣ, часто разговаривая самъ съ собою, такъ какъ въ головѣ у него вѣчно рождалось нѣчто новое. Какъ сейчасъ вижу его въ одну изъ такихъ минутъ; въ это время онъ задумалъ писать «Дядюшкинъ сонъ» и



«Село Степанчиково» (смотри письмо Майкову <sup>1)</sup>). Онъ былъ въ заразительно веселомъ настроеніи, хохоталъ и рассказывалъ мнѣ приключенія дядюшки, распѣвалъ какіе-то отрывки изъ оперы, но, увидавъ внесенную моимъ Адамомъ янтарную стерляжьё уху, сталъ тормозить Адама, чтобы онъ скорѣе давалъ ѣсть. Адама Ѳ. М. любилъ, впрочемъ, какъ и всѣхъ обиженныхъ судьбою, защищалъ и одарялъ деньгами, когда заводилась у него самого лишняя копейка, что давало моему Лепорелло, горьчайшему пьяницѣ, возможность лишній разъ выпить. Въ ежедневной нашей жизни мой Адамъ игралъ большую роль, а потому да проститъ мнѣ читатель, если я займу его время описаніемъ моего кривоглазаго Адама. Какъ сказано выше, онъ былъ крѣпостной нашъ, чухна. Маленькій, высохшій, на кривыхъ ножкахъ, какъ у большей части портныхъ, сидящихъ по-турецки съ иглою всю жизнь. Огромная его голова, скуластая, украшалась крошечнымъ вздернутымъ носомъ, на подобіе большой пуговицы. Волосы, цвѣта бѣленаго льна, были острижены коротко, стояли щеткой. Грязный, неряшливый и почти постоянно пьяный, онъ пропивалъ и свое жалованье и хорошій заработокъ. Говорилъ онъ ломанымъ русскимъ языкомъ, игралъ на гармоникѣ и пьяный всегда пѣлъ грустныя пѣсни по-фински и плакалъ, всхлипывая. Этого-то человѣка отецъ мнѣ назначилъ спутникомъ и тѣлохранителемъ въ дальній путь, да еще противъ желанія самого Лепорелло, терявшаго въ Петербургѣ свой портновскій хорошій заработокъ. Оттого-то и видѣли мы его вѣчно хмурымъ и недовольнымъ, впрочемъ въ пьяномъ видѣ иногда онъ дѣлался и добръ и даже нѣженъ. Не мало веселыхъ, забавныхъ

---

<sup>1)</sup> Сборникъ Н. Н. Страхова.

минуть доставилъ онъ намъ съ  $\Theta$ . М.; мы хотали отъ души, когда, здорово выпивъ, взявъ гармонику и пошатываясь и спотыкаясь, спускался онъ по лѣстницѣ. Излюбленное его мѣсто было на прилавкѣ подь моими окнами. И скоро въ открытыя окна неслась къ намъ его серенада: онъ силымъ, унылымъ голосомъ тянулъ и завывалъ свою чухонскую монотонную пѣсню: «Ай-вань, тан-ту-у-у» и какъ-то особенно, какъ бы съ отчаяніемъ, обрывалъ—«ту-у-у-у-о-пилу-у». Нерѣдко мы подхватывали и держали ему втору; но когда серенада его тянулась безконечно, рѣшительно изводя насъ, то, чтобы привести его въ чувство, я выливалъ Адаму кувшинъ свѣжей воды на голову изъ окна,—онъ вскакивалъ, бранился, уходилъ въ огородъ подь опрокинутую вверхъ дномъ лодку и тамъ продолжалъ свой концертъ. Разъ подь лодкою онъ засталъ молодую татарскую парочку и былъ сильно побить. Конечно, сердобольный  $\Theta$ . М. сейчасъ же далъ ему на выпивку, пояснивъ: «мы прогнали—вина наша».

$\Theta$ . М. очень любилъ читать Гоголя и Виктора Гюго. Старое поколѣніе тогда Гоголя недолюбливало, мы же, молодежь, восхищались имъ. Въ Лицеѣ были товарищи, которые цѣлыя страницы его сочиненій знали наизусть; многимъ изъ товарищей мы давали клички изъ «Мертвыхъ Душъ», такъ, наприкладъ, у насъ былъ Чичиковъ, были Селифонъ и Коробочка. Какъ-то разъ, хваля и восхищаясь Гоголемъ въ присутствіи одного моего высокопоставленнаго родственника, я вызвалъ его негодование: «Надо было давно ему запретить писать,—говорилъ онъ намъ,—сослать и сжечь эти «Мертвыя Души»; я стараюсь уже объ этомъ у государя. До чего дойти! Смѣть топтать въ грязь чиновниковъ, облеченныхъ властью и довѣріемъ правительства, да и вамъ, мо-

лодежи, только затемняетъ головы».—Вотъ какое отношеніе было тогда къ великому Гоголю.

Когда Ө. М. былъ въ хорошемъ расположеніи духа, онъ любилъ декламировать, особенно Пушкина; любимые его стихи были «Пирь Клеопатры» (Египетскія ночи). Лицо его при этомъ сіяло, глаза горѣли.

«Чертогъ сіялъ. Гремѣли хоромъ  
Пѣвцы при звукѣ флейтъ и лиръ;  
Царица голосомъ и взоромъ  
Свой пышный оживляла пирь!»

Какъ-то вдохновенно и торжественно звучаль голосъ Достоевскаго въ такія минуты.

Долженъ, впрочемъ, сказать, что я въ то время мало занимался литературой; я весь предался сухой наукѣ и подчасъ этимъ возмущаль Достоевскаго. «Да бросьте вы ваши профессорскія книги»,—приставаль онъ ко мнѣ. Во время нашихъ бесѣдъ о Сибири онъ горячо доказываль мнѣ, что у Сибири нѣтъ будущности, такъ какъ всѣ ея рѣки впадаютъ въ Ледовитый океанъ и другого выхода въ море нѣтъ. О приобрѣтеніяхъ Н. Н. Муравьева на берегахъ Великаго океана въ Семипалатинскѣ никто и не зналь, а о желѣзномъ пути въ Сибирь и во снѣ не видѣли и думать не смѣли—сочли бы за умопомѣшаннаго. Я самъ хохоталь, когда нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1858 г., будучи на Амурѣ, познакомилсъ съ знаменитымъ Бакунинымъ, который развиваль мнѣ эту мысль.

Упомяная о Бакунинѣ, я не могу вскользь не сказать нѣсколько словъ о немъ. Мое личное впечатлѣніе о немъ, что Б. былъ анархистъ-революціонеръ не по убѣжденію, а просто по своей природѣ. Онъ любилъ революцію ради процесса революціи. Дол-

гіе годы спустя, когда я былъ посланникомъ въ Саксоніи, въ моихъ рукахъ очутилась пространная переписка между нашимъ правительствомъ, саксонскимъ и австрійскимъ, которому Б. былъ выданъ. Какъ извѣстно, Б. бѣжалъ впослѣдствіи изъ австрійской крѣпости, гдѣ онъ былъ заточенъ. Всѣ записки и бумаги Бакунина захвачены при его задержаніи; онѣ сохранились и по сіе время и, я надѣюсь, современемъ будутъ напечатаны.

Но вернемся къ дорожному Федору Михайловичу, котораго я отъ души уже въ то время полюбилъ; а какъ высоко я его цѣнилъ, лучшимъ подтвержденіемъ могутъ служить сохранившіяся до сихъ поръ мои письма къ роднымъ изъ Сибири. Вотъ что я читаю въ одномъ изъ нихъ, помѣченномъ 2-мъ апрѣля, Семипалатинскъ: *«Судьба сблизила меня съ рѣдкимъ человѣкомъ, какъ по сердечнымъ, такъ и умственнымъ качествамъ; это нашъ юный несчастный писатель Достоевскій. Ему я многимъ обязанъ, и его слова, совѣты и идеи на всю жизнь укрѣпляютъ меня. Съ нимъ я занимаюсь ежедневно, и теперь будемъ переводить Философію Гегеля и Психію Каруса. Онъ человѣкъ весьма набожный, болѣзненный, но воли желѣзной. Узнайте, добрый папенька, Бога ради, не будетъ ли амнистіи. Сколько несчастныхъ ожидаютъ и надѣются, какъ утопающіе хватаются за соломенку. Неужели сердце нашего новаго Государя, добраго и милостиваго, не пойметъ, что великодушіе лучшее средство побѣдить недоброжелателей».*

Въ другомъ письмѣ къ сестрѣ отъ 15-го мая читаю:

*«Попроси отца, умоляю, узнать черезъ Александра Федоровича Вейманъ, будетъ ли при коронаціи амнистія политическимъ нѣкоторымъ преступникамъ и не можно ли шепнуть слово Дубельту или*

князю Орлову о Достоевскомъ; неужели же этотъ замѣчательный человѣкъ погибнетъ здѣсь въ солдатахъ. Это было бы ужасно. Горько и больно за него—я полюбилъ его, какъ брата, и уважаю, какъ отца».

Выяснивъ мои отношенія къ Достоевскому, въ искренности которыхъ нѣтъ повода сомнѣваться, перехожу къ моему дальнѣйшему повѣствованію.

Снисходительность Ѳ. М. къ людямъ была какъ бы не отъ міра сего. Онъ находилъ извиненіе самымъ худымъ сторонамъ человѣка,—все объяснялъ недостаткомъ воспитанія человѣка, вліяніемъ среды, въ которой росли и живутъ, а часто даже ихъ натуру и темпераментомъ.

«Ахъ, милый другъ, Александръ Егоровичъ, да такими вѣдь ихъ Богъ создалъ», говаривалъ онъ. Все забитое судьбою, несчастное, хворое и бѣдное находило въ немъ особое участіе. Его совѣмъ изъ ряда выдающаяся доброта извѣстна всѣмъ близко знавшимъ его. Кто не помнитъ его заботливости о семьѣ его брата М. М. (смотри его письма ко мнѣ), его попеченія о маленькомъ Пашѣ Исаевѣ и о многихъ другихъ.

Бывали у насъ съ нимъ бесѣды и на политическія темы. О процессѣ своемъ онъ какъ-то угрюмо молчалъ, а я не спрашивалъ. Знаю и слышалъ отъ него только, что Петрашевскаго онъ не любилъ, затѣямъ его положительно не сочувствовалъ и находилъ, что политическій переворотъ въ Россіи пока невысказанъ, преждевремененъ, а о конституціи по образцу западныхъ,—при невѣжествѣ народныхъ массъ и думать смѣшно. Я какъ-то разъ писалъ ему изъ Копенгагена и сказалъ, что не доросла еще Россія до конституціи и долго еще не доростетъ, что одинъ земскій соборъ совѣщательный необходимъ. На это Д.

отвѣтилъ письмомъ, что во многомъ онъ согласенъ со мною.

Изъ товарищей своихъ *Ө. М.* часто вспоминалъ Дурова, Плещеева и Григорьева. Ни съ кѣмъ изъ нихъ въ перепискѣ не состоялъ, черезъ мои руки шли только письма къ брату его Михаилу, разъ къ Аполлону Майкову, теткѣ Куманиной и молодому Якушкину.

Теперь, сдѣлавъ болѣе или менѣе подробную характеристику *Ө. М. Достоевскаго*, прошу читателя помнить, что я описалъ *Ө. М.* такимъ, какимъ зналъ его въ Сибири въ пятидесятихъ годахъ, хотя несчастнаго, больного, но еще не надломленнаго, бодрого и сильнаго духомъ. Затѣмъ судьба разъединила насъ, и я не знаю, остался ли онъ таковымъ до конца своей жизни. Послѣдній разъ мы свидѣлись мелькомъ въ Петербургѣ въ 1873 году. Съ тѣхъ поръ я жилъ и служилъ за границей.

Не ограничусь только вышесказаннымъ о Достоевскомъ, а постараюсь шагъ за шагомъ довести мое повѣствованіе о немъ до дня моего отъѣзда изъ Сибири и разлуки съ нимъ.

Случалось, что и я самъ изрѣдка проводилъ вечеръ у Достоевскаго, но и я и онъ предпочитали мой домъ, такъ какъ больно ужъ неуютно и неприглядно было у него. Его упрощенное хозяйство, стирку, шитье и убранство комнаты вела старшая дочь хозяйки— вдовы солдатки, дѣвушка лѣтъ двадцати. У нея была сестра лѣтъ шестнадцать, очень красивая. Старшая ухаживала за *Ө. М.* и, кажется, съ любовью, шила ему и мыла бѣлье, готовила пищу и была неотлучно при немъ; я такъ привыкъ къ ней, что ничуть не удивлялся, когда она съ сестрой садилась тутъ же съ нами лѣтомъ пить чай en grand négligé, т. е. въ одной рубашкѣ, подпоясанная только краснымъ кушакомъ,

на голую ногу и съ платочкомъ на шеѣ. Бѣдность у нихъ была большая, такъ какъ, кромѣ маленькаго огорода, онѣ ничего не имѣли и мать открыто эксплуатировала молодость и красоту дочерей. Впрочемъ, тогда въ Сибири это никого не удивляло и было въ порядкѣ вещей. Я помню отвѣтъ старухи Федору Михайловичу, который упрекалъ ее за ея распущенность съ младшею шестнадцатилѣтнею дочерью. «Эхъ, баринъ, все равно сошлась бы современемъ съ батальоннымъ писаремъ или унтеромъ за два пряника аль фунтъ орѣховъ, а съ вами, господами, и фортель, и честь!... вѣдь съ чиновниками не всякой выпадеть счастье...» На такую практическую логику трудно намъ было отвѣчать.

Теперь не обойду молчаніемъ и то, что мнѣ извѣстно о припадкахъ падучей болѣзни. О. М. Богъ миловаль, я лично никогда свидѣтелемъ ихъ не былъ. Но знаю, что припадки бывали довольно часто; обыкновенно его хозяйка немедленно давала мнѣ знать. Послѣ припадка онъ чувствовалъ себя всегда дня два-три разбитымъ, вялымъ, мысли не вязались, голова не работала. Первые признаки болѣзни, какъ онъ утверждалъ, появились еще въ Петербургѣ, а развилась она на каторгѣ. Въ Семипалатинскѣ припади случались черезъ три мѣсяца. Приближеніе ихъ онъ чувствовалъ и говорилъ, что передъ приступомъ его тѣло охватываетъ какое-то невыразимое чувство сладострастія. Жутко было видѣть въ эти минуты этого страдальца, да еще при такихъ жизненныхъ условіяхъ; жалокъ и беспомощенъ онъ былъ послѣ каждого пароксизма!

**Романъ Достоевскаго.—Сборы въ походъ.—Дача  
«Казаковъ Садъ».—Наши поѣздки по окрест-  
ностямъ.**

Однообразно-томительно текла наша жизнь. Я мало кого посѣщаль, сидѣлъ болѣе дома, много читаль, много писалъ. Съ кѣмъ только я тогда ни переписывался, даже имѣлъ смѣлость написать знаменитому ученому барону Александру Гумбольдту по поводу его писемъ о Сибири. Въ 1857 г. въ Берлинѣ, на пути въ кругосвѣтное плаваніе, мнѣ довелось и познакомиться съ нимъ лично.

Федоръ Михайловичъ общался немного болѣе меня, особенно часто онъ навѣщаль семью Исаевыхъ. Сидѣлъ у нихъ по вечерамъ и согласился давать уроки ихъ единственному ребенку—Пашѣ, шустрому мальчику восьми-девяти лѣтъ. Марія Дмитриевна Исаева была, если не ошибаюсь, дочь директора гимназіи въ Астрахани и вышла тамъ замужъ за учителя Исаева. Какъ онъ попалъ въ Сибирь—не помню. Исаевъ былъ больной, чахоточный и сильно пилъ. Человѣкъ онъ былъ тихій и смиренный. Маріи Дмитриевнѣ было лѣтъ за тридцать; довольно красивая блондинка средняго роста, очень худошавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловѣщій румянецъ игралъ на ея блѣдномъ лицѣ, и нѣсколько лѣтъ спустя чахотка унесла ее въ могилу. Она была начитана, довольно образована, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. Въ Федорѣ Михайловичѣ она приняла горячее участіе, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оцѣнила его, скорѣе пожалѣла несчастнаго, забитаго судьбою человѣка. Возможно, что даже привязалась къ нему, но влюблена въ него ничуть не была. Она знала, что у него падающая болѣзнь, что у него нужда въ сред-



ствахъ крайняя, да и человекъ онъ «безъ будущности», говорила она. Ѳедоръ же Михайловичъ чувство жалости и состраданія принявъ за взаимную любовь и влюбился въ нее со всею пыломъ молодости. Достоевскій пропадалъ у Исаевыхъ по цѣлымъ днямъ, усиленно тащилъ и меня, но несимпатична мнѣ была та среда ради мужа ея.

Въ началѣ марта въ десять дней прискакалъ изъ Петербурга въ Омскъ флигель-адъютантъ Ахматовъ съ извѣстіемъ о смерти императора Николая I. 12-го марта эта вѣсть дошла и до насъ. Мнѣ приказано было приводить въ мечетяхъ къ присягѣ магометанъ. Не могу сказать, чтобы они были взволнованы этою новостью; они, какъ и всѣ азіаты, были необщительны, скрытны, но, видимо, какъ и всѣ въ то время, трепетали передъ грознымъ именемъ Николая. Все ихъ участіе выразилось въ томъ, что послѣ церемоніи присяги они обступали меня съ разспросами, продолжится ли еще Крымская война и не грозитъ ли имъ опасность призыва на военную службу.

Интеллигентный классъ нашего града былъ пораженъ этой смертью. Нельзя забывать, что большая часть его были жертвы Николаевского режима; что же касается политическихъ сосланныхъ, то, почувявъ новыя вѣянія и ободренные милостивымъ манифестомъ, они ликовали. Слухъ о мягкости характера, гуманности и добротѣ новаго царя давно проникъ въ Сибирь. Мы съ Ѳ. М. пошли въ соборъ на панихиду. Настроеніе, правда, было серьезное, но слезы ни одной,—только старые военные и солдаты вздыхали да охали, а одинъ изъ нихъ старикъ-великанъ, бывшій преображенецъ, все повторялъ: «не будетъ онъ, голубчикъ, больше съ нами христоваться, не будетъ!» И у Достоевскаго воскресла

надежда на перемѣну въ своей участи—на амнистію. Болѣе всего всѣхъ насъ занималъ вопросъ, будетъ ли еще длиться война?

Между тѣмъ въ нашихъ мѣстахъ, въ степи, не совсѣмъ-то было покойно. Орда волновалась. У каракиргизовъ формировались шайки для набѣга. Ханъ ташкентскій выставилъ девять тысячъ всадниковъ на рѣку Чу и подступалъ къ Алматамъ (теперь Вѣрное), нашему крайнему посту на южной границѣ. Боялись, что онъ отрѣжетъ сообщеніе между Вѣрнымъ и Копаломъ на рѣкѣ Или,— а въ этомъ укрѣпленномъ мѣстечкѣ было войска всего одна рота солдатъ, 300 казаковъ и 4 легкихъ орудія. Наши лазутчики и тайные агенты въ Ташкентѣ, Коканѣ, Бухарѣ и Хивѣ изъ «чало-казаковъ» увѣряли, что агенты англичанъ и турокъ поднимаютъ всѣ ханства противъ насъ.

Чало-казаками назывались выходцы изъ Средней Азіи, поселившіеся въ нашихъ Киргизскихъ степяхъ: зачастую это были наши бѣглые солдаты и каторжники, научившіеся мѣстному языку, принявшіе магометанскую вѣру и перенявшіе костюмъ. Кто они—рѣдко удавалось узнать, и ихъ терпѣли какъ выходцевъ, принявшихъ русское подданство. Въ Семипалатинскѣ было такихъ два богатыхъ купца, происхожденіе которыхъ было темное и неизвѣстное. Знали, что они русскіе подданные, но откуда и какъ явились, никто не зналъ; случайно у одного изъ нихъ въ банѣ были обнаружены клеймы,—ну и тогда хотя отношенія къ нимъ семипалатинскихъ обывателей остались прежнія, но тайна перестала быть тайною.

Одновременно съ волненіями каракиргизовъ возникла тревога и со стороны юго-восточной границы, близъ Китая, со стороны Чугучака и Кульджи. Возстали сосланные китайцы и всякій сбродъ рода

человѣческаго. Ужъ не разъ китайскіе искатели приключеній и золота врывались въ наши предѣлы, грабили, убивали и изгоняли золотопромышленниковъ съ ихъ пріисковъ. Генераль-губернаторъ въ истекшемъ (1858) году приказывалъ: «гнать злоумышленниковъ нагайками и тупыми концами пикъ». Теперь же изъ Семипалатинска посылались войска въ горы Калбы и Тарбагатая и на рѣкѣ Лепсѣ, гдѣ впервые въ прошломъ году поселили выходцевъ изъ Малороссіи — теперь рѣшено было выгнать китайцевъ силою оружія. Изъ кого только ни состоялъ этотъ бунтующій сбродъ: коканцы, аламанчики (разбойники), киргизскіе барантычи (хищники стадъ) и всевозможные байгуши (бѣдняки) въ этомъ году все чаще и чаще дѣлали набѣги на нашу зону. Собственно, гдѣ кончалась наша граница,—тогда никто не зналъ. Еще осенью 1854 года ханъ ташкентскій высылалъ отрядъ противъ Вѣрнаго подъ командою русскаго бѣглаго солдата съ пушками. Но сей полководецъ чало-казакъ забылъ взять достаточно патроновъ, а самодѣльный его порохъ оказался никуда негоднымъ, и онъ отступилъ, за что ханъ приказалъ ему отрѣзать носъ. Все это сообщилъ намъ Рахимъ-бей, его негласный агентъ въ Семипалатинскѣ, богатый купецъ асакаль (предводитель ташкентскихъ каравановъ).

Въ Омскѣ все это вызвало тревогу, всполошило всѣхъ и вся. Начали на Копалѣ формировать военный отрядъ.

Въ Семипалатинскѣ пришелъ приказъ готовиться къ походу. Изъ Тобольска везли старыя пушки и ядра Павловскихъ временъ.

Нужно сказать, что когда императоръ Павелъ I незадолго до своей кончины задумалъ походъ въ Индію, то въ Тобольскѣ были свезены ядра и пушки. Такъ онѣ и пролежали тамъ пятьдесятъ лѣтъ, и вотъ

теперь-то вспомнили о нихъ. Ружья у солдатъ тогда были еще «кремневья». Наши пушки тѣхъ временъ разстрѣленные и съ раковинами. Самъ Гасфортъ собрался въ объѣздъ; въ іюнѣ его ожидали къ намъ въ Семипалатинскъ,—говорили будетъ дѣлать ревизію присутственныхъ мѣстъ и произвести смотръ войскамъ передъ выходомъ въ походъ. Командиры встрепенулись и заволновались; пошли ученья и муштровки. Бѣдному *Θ. М.* ежедневно приходилось два-три часа стоять въ строю; особенно изводилъ его парадный тихій шагъ въ три приѣма. Я самъ ознакомился въ этомъ удовольствіемъ въ мою бытность въ Лицеѣ и недоумѣвалъ, кому нужна была эта ножная гимнастика временъ Фридриха Великаго, введенная у насъ императоромъ Павломъ.

Лѣтомъ Семипалатинскъ невыносимъ: страшно душно, песокъ накаляется подъ палящими лучами солнца до-нельзя. Малѣйшій вѣтеръ подымаетъ облака пыли и тончайшій песокъ засыпаетъ глаза и проникаетъ повсюду. Жара въ тѣни въ іюнѣ доходила до 32° Реомюра. Я рѣшилъ переѣхать за городъ въ апрѣлѣ, какъ только степь и деревня зазеленѣютъ. Во всемъ Семипалатинскѣ была одна дача съ огромнымъ садомъ, за Казацкою слободкою, близъ лагеря. Это было на руку и *Θ. М.*, и я предложилъ ему переѣхать ко мнѣ изъ своей берлоги. Дача эта принадлежала богатому купцу-казаку и именовалась «Казаковъ Садъ» (смотри письмо ко мнѣ *Θ. М.*).

Нанялъ я кухарку изъ ссыльныхъ, прикупилъ четвертую лошадь для моего джигита и въ началѣ апрѣля мы перебрались на лѣтнюю квартиру. Да не подумаетъ читатель, ознакомившись со всѣмъ моимъ штатомъ, что я тогда былъ не вѣсть какой Крезъ;—я получалъ жалованья 750 рублей и отъ отца 600 рублей въ годъ, итого 1350 рублей, съ кото-

рыми тогда даже семейному можно было жить въ Сибири припѣваючи. Дача за цѣлое лѣто стоила тридцать рублей. Цѣна лошади была семь—восемь рублей, а когда я обратился къ знакомому киргизскому султану, прося выбрать изъ его громадныхъ табунѡвъ что ни есть лучшаго коня и назначилъ за лошадь пятнадцать рублей, то всѣ упрекали меня, что я порчу цѣны. Выносливость киргизскихъ лошадей изумительная, овса или ячменя онѣ не знаютъ, одно сѣно. Мнѣ большихъ трудовъ стоило приучить ихъ къ овсу и первое время у нихъ выступила какая-то сыпь отъ новаго корма. Изъ моей четверки двѣ сѣрыя были приѣзжены въ одиночку, ходили и съ пристяжкой. Экипажъ «долгушу» вродѣ миниатюрнаго тарантасика и сани я выписалъ изъ Перми. Подъ сѣдломъ вся моя четверка шла превосходно.

Я еще зимою выписалъ всевозможныхъ сѣмянъ цвѣтовъ, овощей и луковицъ изъ Риги. Въ городѣ на дворѣ уже заблаговременно мы устроили парники и подготовили разсаду. Достоевскаго это чрезвычайно радовало и занимало и не разъ вспоминалъ онъ свое дѣтство и родную усадьбу.

Въ началѣ апрѣля мы съ Ѳ. М. переѣхали въ наше Эльдorado,—въ «Казаковъ Садъ». Деревянный домъ, въ которомъ мы поселились, былъ очень ветхъ, крыша текла, полы провалились; но онъ былъ довольно обширный, и мѣста у насъ было вдоволь. Конечно, мебели никакой—пусто, какъ въ сараѣ. Большое зало выходило на террасу, передъ домомъ устроили мы цвѣтники. Одна большая аллея прорѣзала весь садъ съ старыми деревьями. Цвѣтущихъ кустовъ никакихъ: сирени, жасмина, розъ въ Семипалатинскѣ тогда и не видывали. Былъ у насъ и огородъ, который далъ намъ тоже массу овощей, доселѣ тоже невѣдомыхъ въ странѣ.

Среди сада находились ключи чистѣйшей студеной воды и было вырыто три водоема, въ которыхъ я держалъ стерлядь и маленькаго осетра, чтобы имѣть подъ рукою рыбу для стола. Раковъ въ то время во всей Сибири не водилось. При домѣ были конюшни, сараи и обширный дворъ. Все это обнесено высокимъ досчатымъ заборомъ, а весь садъ и огородъ высокимъ частоколомъ.

Усадьба наша расположена была на высокомъ правомъ берегу Иртыша, къ рѣкѣ шелъ отлогій зеленый лугъ. Мы тутъ устроили шалашъ для купанья; вкругъ него группировались разнообразныя кусты, густыя заросли ивы и масса тростника. То тамъ, то сямъ среди зелени виднѣлись образовавшіеся отъ весенняго разлива пруды и небольшія озерки, кишѣвшія рыбой и водяной дичью. Купаться мы начали въ маѣ.

Цвѣтниками нашими мы съ  $\Theta$ . М. занимались ретиво и вскорѣ привели ихъ въ блестящій видъ.

Ярко запечатлѣлся у меня образъ  $\Theta$ . М., усердно помогавшаго мнѣ поливать молодую рассаду, въ потѣ лица, снявъ свою солдатскую шинель, въ одномъ ситцевомъ жилетѣ розоваго цвѣта, полинявшаго отъ стирки; на шеѣ болталась неизмѣнная, домашняго издѣлія, къ мнѣ-то ему преподнесенная длинная цѣпочка изъ мелкаго голубого бисера, на цѣпочкѣ висѣли большіе лукообразныя серебряныя часы. Онъ обыкновенно былъ весь поглощенъ этимъ занятіемъ и, видимо, находилъ въ этомъ времяпрепровожденіи большое удовольствіе.

Дни стояли ужъ очень жаркіе. Нерѣдко въ заботахъ нашихъ о цвѣтникахъ принимали живое участіе обѣ дочери хозяйки Достоевскаго (его городского обиталища). Онѣ занимались обыкновенно поливкой цвѣтовъ. Потрудившись часокъ-другой, мы шли ку-

паться и затѣмъ располагались на террасѣ пить чай или обѣдать. Читали газеты, покуривая трубки, вспоминали съ О. М. о Петербургѣ, о близкихъ и дорогихъ намъ лицахъ, бранили Европу. Вѣдь шла еще война подъ Севастополемъ, и мы скорбѣли и тревожились. Мы устроились совсѣмъ по-помѣщичьи. Я завелъ куръ, трехъ маленькихъ поросятъ отъ дикихъ кабановъ и, ради потѣхи, даже ручного, какъ собака, волченка. Одинъ милѣйшій артиллерійскій офицеръ В. В. Обухъ привезъ съ Копала двухъ тигрятъ-котятъ и предлагалъ одного изъ нихъ мнѣ, но я отказался,—они уже подросли и царапались, когда ихъ ласкали.

Тигровъ (дзюль-барсъ по-киргизски) и барсовъ водилось тогда много въ юго-западныхъ отрогахъ Алтая, въ камышахъ озеръ Балхаша, Норзайсанъ и другихъ, особенно по рѣкамъ Или, Чу и Лепсѣ. Это тотъ же тигръ, что и въ Индіи, по величинѣ и цвѣту шкуры, только зимою шерсть отростаетъ длиннѣе и гуще. Я встрѣчалъ ихъ и на Амурѣ; особенно много водилось ихъ близъ Владивостока, когда я былъ тамъ съ корветомъ «Воеводою» осенью 1858 года при основаніи города. Опасно было удаляться отъ жилья. Зоологи наши знаютъ, что тигръ доходилъ далеко на сѣверъ, его убивали даже около Якутска. Въ мое время былъ такой случай. Два казака пошли бить острогою щукъ ночью, взяли ружья,—здѣсь безъ нихъ шагу ступить нельзя. Подъ утро, привязавъ челнъ веревкою къ ивѣ, уснули на днѣ челна. Вдругъ чувствуютъ, что челнъ начинаетъ раскачиваться, какъ будто кто-то дергаетъ челнъ за веревку; приподнялись, всматриваются и видятъ: на берегу огромная тигрица, любовно поглядывающая, какъ два ея чада—маленькіе тигренки, цѣпляются за веревку привязаннаго челнока, играютъ съ нею и рѣзвятся, карабкаясь на

нее. Схватить ружье было дѣломъ одной минуты. Тигрица была убита, а одинъ тигренокъ пойманъ живымъ.

Но вернемся къ нашему ежедневному времяпрепровожденію. Катаясь верхомъ,—я уговорилъ наконецъ и Достоевскаго сѣсть на одну изъ моихъ лошадей, самую смирную; повидимому, это довелось ему въ первый разъ, и какъ онъ ни былъ смѣшонъ и неуклюжъ въ роли кавалериста въ своей сѣрой солдатской шинели, но скоро вошелъ во вкусъ и мы съ нимъ дѣлали верхомъ длинныя прогулки въ самый боръ, въ окрестныя зимовья и въ степь съ разбросанными по ней юртами киргизовъ и ихъ ставками. А какъ чудно хороша была степь! Въ эту пору вся она была въ цвѣту, благоухала,—яркая зелень, испещренная цвѣтами, какъ дивный коверъ разстилалась на необозримое пространство. Что за прелесть степь раннею весною, пока жгучіе лучи солнца не коснулись ея, не засушили ее!

Наши пріятели, богачи Менды-Бай и Тени-Бай (я сохранилъ ихъ рисунки-портреты) рады были принять насъ, особенно ихъ молодыя жены. Насъ поили <sup>1)</sup> свѣжимъ кумысомъ, угощали бараньимъ, твердымъ, какъ камень, сыромъ, пловомъ съ бараниной и колбасой изъ копченаго мяса молоденькаго жеребенка.

Разъ  $\Theta$ . М. участвовалъ даже на псовой охотѣ, устроенной полковникомъ Мессарошемъ,—но скакать за борзыми наотрѣзъ отказался. Охоты  $\Theta$ . М. вообще не любилъ.

Любовь Достоевскаго къ М. Д. Исаевой, однако, не охладѣвала; при всякомъ удобномъ случаѣ онъ проводилъ время тамъ, всякій разъ возвращался

---

<sup>1)</sup> Киргизскія жены не носятъ чадры и допускаются въ мужское общество.



оттуда въ какомъ-то экстазѣ, восторгался и удивлялся, когда я не вторилъ ему. Однажды, отправившись съ Достоевскимъ къ Исаевымъ, я увидѣлъ у нихъ оборванную, грязную дѣвушку лѣтъ 15—16, красивую блондинку. Мнѣ объяснили, что это старшая дочь поляка О...аго, переведеннаго въ Сибирь на службу за какую-то провинность. Теперь онъ былъ батальонный казначей, личность неприглядная и вѣчно пьяная. Вдовецъ съ тремя дочерьми, изъ которыхъ Марина была старшая. Овдовѣвъ, онъ вскорѣ женился на своей кухаркѣ, третировавшей безсердечно бѣдную дѣвушку. Она исполняла обязанности работницы и служанки въ домѣ. Она мыла полы, стирала бѣлье и въ отношеніи умственного развитія была совершенно заброшена. М. Д. Исаева заинтересовалась бѣдной дѣвочкой, приласкала ее, приняла въ ней участіе и просила Достоевскаго заняться ею. Марина впослѣдствіи играла роль, какъ далѣе увидитъ читатель, въ моемъ разсказѣ о *Ө. М. Достоевскомъ*.

При наплывѣ моихъ воспоминаній, увлекаясь прошлымъ, какъ бы воскресшимъ передо мною, невольно приходится въ моемъ повѣствованіи нѣсколько отвлекаться,—да проститъ мнѣ это мой благосклонный читатель.

Время въ «Казаковомъ Саду» шло довольно быстро и пріятно. Къ намъ то и дѣло наѣзжали знакомые и завидовали нашему благоустройству; особенно часто повадились заглядывать двѣ дамочки. Стояли чудные майскіе дни, зацвѣли мои цвѣтники,—чудесныя георгины, гвоздики, левкои и проч. благодаря тучной нетронутой почвѣ вышли на славу намъ и нашимъ дѣвамъ, усердно поливавшимъ наши цвѣтники. Никогда въ Семипалатинскѣ, кромѣ подсолнечниковъ, правда, въ полъ-аршина ширины, никакихъ цвѣтовъ и не видывали, и вдругъ такое заморское

чудо, такая диковинная затѣя «нелюдимаго», какъ меня называли, барона. Къ намъ стало валить столько народа смотрѣть наши цвѣты, что покоя не было, особенно назойливы были дамы — приѣдутъ, опустошатъ всѣ клумбы, разсядутся и ничѣмъ ихъ не выживешь. Долго снисходительно смотрѣлъ я, наконецъ терпѣніе лопнуло, и мы не знали какъ избавиться отъ непрошенныхъ посѣтительницъ.

Въ нашемъ палаццо въ залѣ провалился полъ и росли какіе-то огромные грибы. Въ этомъ родѣ были и остальные комнаты. Одну занялъ я, въ другой расположился Ѳ. М. — насъ раздѣляли еще двѣ пустыя комнаты. Мебели почти никакой, кромѣ самаго необходимаго, кой-что соорудили сами изъ досокъ и боченковъ. Крысы, мышей и ужей мы нашли при нашемъ переѣздѣ въ изобиліи. Особенно много ужей было подъ нашей террасою на солнцепекѣ. Началъ я замѣчать, что кто-то выпивалъ молоко, ставившееся въ тарелкѣ на полу террасы для щенятъ; сталъ наблюдать и разъ увидаль, какъ два ужа подползли къ тарелкѣ, быстро поглотали молоко и юркнули въ щель. Это меня позабавило и навело на мысль приучить ужей, прикармливая ихъ молокомъ, къ нашему присутствію. И вотъ стали мы ежедневно подъ скамью ставить молоко; ужи подползали, питались и понемногу, неспугиваемые нами, привыкли къ нашему присутствію, перестали бояться людей. Однажды, только что мы выставили подъ скамьи террасы заготовленное для ужей молоко и ужи, не заставивъ себя ждать, облѣпили чашку, какъ подошли, веселыя и оживленныя, наши посѣтительницы. Напуганные ихъ шумнымъ появленіемъ, ужи шарахнулись и расползлись въ разныя стороны, путаясь въ платьяхъ

и подъ ногами вопившихъ дикимъ голосомъ и мечущихся семипалатинскихъ дамъ, быстро покинувшихъ нашу дачу. Мы долго потомъ, вспоминая это происшествіе, хохотали до упаду. Наша дача была объявлена заколдованной, дамы оставили насъ въ покоѣ, и наша цвѣты были спасены, но — увы! — не надолго. Когда я въ серединѣ августа какъ-то уѣхалъ въ отпускъ на нѣсколько недѣль къ Х., всѣ цвѣты были выкопаны, пересажены въ горшки, и я увидѣлъ ихъ красовавшимися на окнахъ чиновнаго монда Семипалатинска. Достоевскій, грустно и беспомощно поводя руками, пояснилъ мнѣ, что противъ этого рѣшительно подѣлать ничего не могъ, такъ какъ вслѣдствіе моего отсутствія все его начальство первое набросилось на мои астры, левкой и георгины.

Любители мы оба съ Достоевскимъ были и до фруктовъ, а Ѳ. М. и вообще до всякаго лакомства. Но ни того, ни другого въ Семипалатинскѣ бывало не достанешь. Удивительно, что въ то время во всей Западной Сибири не разводились ни яблони, ни груши, черешни же были рѣдкостью. Зимой привозили изъ Ирбита замороженные яблоки и, какъ большую рѣдкость, лимоны. Мы ихъ оттаивали постепенно въ очень холодной водѣ и ставили въ холодную комнату; спустя нѣкоторое время они были какъ свѣжіе. Зато лѣтомъ было изобиліе ягодъ: малины, черной смородины, лѣсной земляники, мамуры, облѣпихи, но садовой земляники, крыжовнику, бѣлой и красной смородины не знали, и ее посадили только въ 70-хъ годахъ. Вообще садоводствомъ и даже огородничествомъ никто не интересовался и съ любовью не занимался. Арбузы и дыни стали появляться только съ первыми поселенцами изъ Малороссіи, которые въ началѣ 50-хъ годовъ стали селиться по

рѣкъ Лепсѣ и на Копалѣ. Край этотъ золотое дно. Пчеловодства и того въ мое время не знали ни на Алтаѣ, ни въ Семирѣчьи и при мнѣ были сдѣланы только первыя попытки и очень удачныя. Медъ липовый бочками привозили изъ Казани и Оренбургской губерніи. Одно изъ любимыхъ лакомствъ Ѳ. М. и мое были кедровые орѣхи съ медомъ. Зато сушеныхъ фруктовъ изъ Бухары и Кокана караваны доставляли для Ирбитской ярмарки массы, и Достоевскій особенно любилъ угощаться кишмишемъ и шепталою. Во всемъ Семипалатинскѣ не знали конфектъ, и выписанная какъ-то мною изъ Казани ржевская пастила показалась необыкновеннымъ угощеніемъ, а когда я въ подарокъ одной дамѣ выписалъ десятокъ засахаренныхъ цѣльныхъ ананасовъ, то чуть ли не весь городъ сбѣжался смотрѣть это чудо.

Но покончимъ съ воспоминаніями гастрономическими и перейдемъ къ фактамъ послѣдующей нашей семипалатинской жизни.

Однажды Ѳ. М. является домой хмурый, разстроенный и объявляетъ мнѣ съ отчаяніемъ, что Исаевъ переводится въ Кузнецкъ, верстъ за 500 отъ Семипалатинска. «И вѣдь она согласна, не противорѣчить, вотъ что возмутительно!»—горько твердилъ онъ.

Дѣйствительно, вскорѣ состоялся переводъ Исаева въ Кузнецкъ. Отчаяніе Достоевскаго было безпредѣльно; онъ ходилъ какъ помѣшанный при мысли о разлукѣ съ Маріей Дмитриевной; ему казалось, что все для него въ жизни пропало. А тутъ у Исаевыхъ оказались долги, пришлось все распродать—и двинуться въ путь все же было не на что. Выручилъ ихъ я, и собрались они наконецъ въ путь-дорогу (смотри письмо Д. ко мнѣ по этому поводу).

Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевскій рыдалъ навзрыдь, какъ ребенокъ. Много лѣтъ

спустя онъ напоминаетъ мнѣ объ этомъ въ своемъ письмѣ отъ 31 марта 1865 года. Да! памятный это былъ день.

Мы поѣхали съ  $\Theta$ . М. провожать Исаевыхъ, выѣхали поздно вечеромъ, чудною майскою ночью; я взялъ Достоевскаго въ свою линейку. Исаевы помѣстились въ открытую перекладную телѣгу—купить кибитку у нихъ не было средствъ. Передъ отъѣздомъ они заѣхали ко мнѣ, на дорожку мы выпили шампанскаго. Желая доставить Достоевскому возможность на прощаніе поворковать съ Маріей Дмитриевной, я еще у себя здорово накаталъ шампанскимъ ея муженька. Дорогою по сибирскому обычаю повторилъ; тутъ ужъ онъ былъ въ полномъ моемъ распоряженіи; немедленно я его забралъ въ свой экипажъ, гдѣ онъ скоро и заснулъ, какъ убитый.  $\Theta$ . М. пересѣлъ къ М. Д. Дорога была какъ укатанная, вокругъ густой сосновый боръ, мягкій лунный свѣтъ, воздухъ былъ какой-то сладкій и томный. Ъхали, ѣхали... Но пришла пора и разстаться. Обнялись мои голубки, оба утирали глаза, а я перетаскивалъ пьянаго, соннаго Исаева и усаживалъ его въ повозку; онъ немедленно же захрапѣлъ, повидимому, не сознавая ни времени, ни мѣста. Паша тоже спалъ. Дернули лошади, тронулся экипажъ, поднялись клубы дорожной пыли, вотъ уже еле виднѣется повозка и ея сѣдоки, затихаетъ почтовый колокольчикъ... а Достоевскій все стоитъ, какъ вкопанный, безмолвный, склонивъ голову, слезы катятся по щекамъ. Я подошелъ, взялъ его руку—онъ какъ бы очнулся послѣ долгаго сна и, не говоря ни слова, сѣлъ со мною въ экипажъ. Мы вернулись къ себѣ на разсвѣтѣ. Достоевскій не прилегъ,—все шагаль и шагаль по комнатѣ и что-то говорилъ самъ съ собою. Измученный душевной тревогой и безсонной

ночью, онъ отправился въ близлежащій лагерь на ученіе. Вернувшись, лежалъ весь день, не ѣлъ, не пилъ и только нервно курилъ одну трубку за другой...

Время взяло свое, и это болѣзненное отчаяніе начало улегаться. Съ Кузнецкомъ началась усиленная переписка, которая, однако, не всегда радовала Ѳ. М. Онъ чуялъ что-то недоброе. Къ тому же въ письмахъ были вѣчныя жалобы на лишенія, на свою болѣзнь, на неизлечимую болѣзнь мужа, на безотрадное будущее,—все это не могло не угнетать Ѳ. М. Онъ еще болѣе похудѣлъ, сталъ мраченъ, раздражителенъ, бродилъ какъ тѣнь. Онъ даже бросилъ свои «Записки изъ Мертваго дома», надъ которыми работалъ такъ недавно съ такимъ увлеченіемъ. Любимое времяпрепровожденіе было, когда мы въ теплые вечера растягивались на травѣ и, лежа на спинѣ, глядѣли на міріады звѣздъ, мерцавшихъ изъ синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцаніе величія Творца, всевѣдомой, всемогущей Божеской силы наводило на насъ какое-то умиленіе, сознаніе нашего ничтожества, какъ-то смиряло нашъ духъ. О религіи съ Достоевскимъ мы мало бесѣдовали. Онъ былъ скорѣе набоженъ, но въ церковь ходилъ рѣдко и поповъ, особенно сибирскихъ, не любилъ. Говорилъ о Христѣ съ восторгомъ. Манера его рѣчи была очень своеобразная. Вообще онъ говорилъ негромко, зачастую начиналъ чуть не шопотомъ, но чѣмъ больше онъ одушевлялся, тѣмъ голосъ его подымался звучнѣе и звучнѣе, а въ минуты особаго волненія онъ, говоря, какъ-то захлебывался и приковывалъ вниманіе своего слушателя страстностью рѣчи. Чудныя минуты пережилъ я съ нимъ. Какъ много дало мнѣ сближеніе съ такой чудной, богато-одаренной натурой. Между нами за все время нашего совмѣстнаго житья не пробѣжала ни одна

тучка, не было ни одного недоразумѣнія. Онъ былъ 10-ю годами старше и много опытнѣе меня. Не разъ, когда я по молодости моихъ лѣтъ и житейской неопытности приходилъ въ отчаяніе отъ окружающей меня гнусной среды, въ которой я принужденъ былъ работать, когда подчасъ, казалось, силы оставляютъ меня въ борьбѣ со зломъ,—*Ө. М.* всячески поддерживалъ во мнѣ энергію, подбодрялъ меня своими совѣтами и участіемъ. За многое я ему благодаренъ. На многое онъ открылъ мнѣ глаза, и особенно я чту его память за чувство гуманности, которое онъ вселилъ въ меня. Послѣ всего вышеизложеннаго читатель пойметъ, что я не могъ оставаться безучастнымъ зрителемъ подавленности духа, причиненнаго *Ө. М.* его злосчастнымъ романомъ.

Я рѣшилъ, что буду всячески его развлекать. При всякомъ удобномъ случаѣ тащилъ его всюду за собою. Познакомилъ его съ горными инженерами ближайшихъ свинцово-серебряныхъ заводовъ: Локтевскаго и Змѣиногорскаго. Трудно давалось мнѣ отвлекать его отъ грустныхъ думъ. Онъ вдругъ сталъ суевѣренъ, началъ рассказывать мнѣ о ясновидящихъ, навѣщаль гадалокъ, а такъ какъ и у меня въ мои двадцать два года въ то время былъ свой романъ, то онъ и меня потащилъ къ какой-то старухѣ, гадавшей на бобахъ (смотри письмо *Д.* ко мнѣ отъ 22 сентября 1859 г.). Положеніе наше съ нимъ, казалось, было однородное, и у меня были преграды—400 верстъ разстоянія, но разница была въ томъ, что героиня моя была на 15 лѣтъ старше меня, имѣла шесть человѣкъ дѣтей, что, впрочемъ, не мѣшало ей пускать пыль въ глаза выписываемыми ею парижскими туалетами и изъ поклонниковъ своихъ вить веревки. *Ө. М.* въ своихъ письмахъ ко мнѣ не разъ вспоминаетъ мою героиню подъ буквой *Х.*, а время этого эпизода именуетъ «безконечно страшное горе».

Но вотъ вскорѣ я получилъ письма изъ Петербурга, въ которыхъ сообщалось, что новый царь милостивъ и очень добръ, что новыя вѣянія уже сказываются и ожидаются величайшія преобразованія. Это извѣстіе чрезвычайно подняло духъ Достоевскаго, онъ приободрился и уже не такъ упорно отказывался отъ моихъ развлеченій.

Богатый ташкенецъ Рахимъ-бей пригласилъ насъ однажды на праздникъ женъ. Онъ выдавалъ замужъ дочь въ Ташкентъ за богатаго купца. Свадьба происходила, за неимѣніемъ въ домѣ большой комнаты, на дворѣ. 150 татарокъ, снявъ чадры, отдѣльными группами сидѣли, поджавъ ноги, на коврахъ, въ богатыхъ шелковыхъ, шитыхъ золотомъ, короткихъ платьяхъ, изъ-подъ которыхъ виднѣлись широкія шаровары. Всѣ женщины были сильно набѣлены и нарумянены, ногти выкрашены и на лицѣ черныя мушки. Онѣ молча ѣли одно блюдо за другимъ. Наконецъ встали, облизали свои пальцы,—вилокъ и ножей не полагалось. Невѣсты среди нихъ не было, она три дня съ двумя подругами должна была по обычаю просидѣть въ чуланѣ и поститься. На четвертый день явился женихъ. Гости-мужчины также пировали особнякомъ. Церемонія закончилась тѣмъ, что ахунъ прочелъ молитву, насъ обошелъ кто-то съ подносомъ, на который всѣ присутствующіе клали серебряныя монеты. Женихъ усадилъ невѣсту на коня верхомъ и двинулся въ путь за 1500 верстъ. Вскорѣ и мы разѣхались по домамъ.

Въ другой разъ отправились мы съ *Θ. М.* въ компаніи губернатора къ богатому коканцу старику, звали его «Букашъ». Это былъ добрый человекъ лѣтъ 65—70, сухощавый, средняго роста, юркій, съ прехитрою лисьею фізіономіею. Рѣденькую козлиную бородку онъ не красилъ, какъ обыкновенно при-



нято у азіатовъ. Онъ посѣтилъ Казань, Москву и не былъ фанатикомъ. Букашъ только что привезъ изъ Кокана молодую, кажется, номеръ пятый жену и вотъ захотѣлъ намъ ею похвастать, для чего и пригласилъ насъ на достарханъ.

Гостей другихъ, кромѣ насъ, не было,—показывать жену, да еще безъ чадры,—честь и довѣріе рѣдкія со стороны этихъ фанатиковъ. Сѣли мы втроемъ по-турецки на ковры, передъ каждымъ изъ насъ поставили низкіе восточные столики съ сладостями, самъ же хозяимъ вскорѣ пошелъ за молодицею; видимо, она стыдилась и боялась выйти, такъ какъ старая татарка появлялась раза два и шептала Букашу что-то на ухо. Наконецъ показался хозяинъ съ своимъ послѣднимъ приобрѣтеніемъ. Эта дѣвушка, которую почти силкомъ влекъ ея повелитель, была еще ребенокъ лѣтъ 14, маленькое забитое существо, дрожавшее, какъ запуганный звѣрекъ. На насъ она робко озиралась своими прекрасными, большими черными глазами. Когда старикъ, ея мужъ, приказалъ ей поднести намъ бокалы съ шампанскимъ, она расплакалась,—но все же повиновалась, послѣ чего стремглавъ бросилась вонъ изъ комнаты. Букашъ какъ-то торжествующе вопросительно молча посматривалъ на насъ, какъ бы говоря: «А! какова?» Мы, конечно, похвалили, но и порядкомъ надъ старикомъ потрунили. Думаю, что за «смотреть его жены» порядкомъ ему досталось и отъ прочихъ женъ, да и отъ соплеменниковъ, такъ какъ это не въ обычаяхъ магометанъ, да еще сибирскихъ, ярыхъ въ то время фанатиковъ.

Посѣтили мы съ Ѳ. М. и такъ называемый Локтевскій заводъ горнаго вѣдомства. Расположенъ онъ былъ верстахъ въ 100 отъ Семипалатинска, на сѣверо-востокъ, среди удивительно плодородной степи съ рѣчками, озерами и рощами. Заводомъ управ-

ляль горный полковникъ Пишке, помощниками его были горные инженеры братья Самойловы; ихъ знаменитую сестру Вѣру—артистку—и брата ихъ я встрѣчалъ часто въ Петербургѣ въ домѣ одного моего родственника. Я скоро очень сошелся съ этими братьями Сомойловыми и сталъ ѣздить къ нимъ. Сотня верстъ разстоянія въ Сибири ни по чемъ, ихъ пролетишь въ 5—6 часовъ времени безъ малѣйшаго утомленія.

Я познакомилъ съ ними и  $\Theta$ . М. Нѣсколько разъ, съ дозволенія начальства, бралъ я  $\Theta$ . М. въ Локтевскій заводъ; тутъ онъ особенно сошелся съ капитаномъ Коврыгинымъ (смотри письмо Д. въ приложеніи). Человѣкъ онъ былъ пріятный и образованный, но... доходы свои имѣлъ, какъ и всѣ въ то время въ Сибири, и это считалось чуть ли не нормальнымъ, какъ-будто иначе и быть не могло. Само правительство было не мало повинно въ этомъ. Какъ же было и не развиваться взяточничеству, когда служба оплачивалась нищенскими окладами; такъ, напри- мѣръ, полицеймейстеръ города Семипалатинска получалъ 345 руб. въ годъ при казенной квартирѣ и на канцелярію полагался одинъ писецъ съ жалованьемъ въ мѣсяцъ 8 рублей. А какъ я самъ же убѣдился, ему самому канцелярія и писаря обходились въ годъ въ 1500 руб., что для областного и князюзнаго города было вовсе не много. Въ Тобольскѣ и Омскѣ, напри- мѣръ, частный приставъ получалъ 85 рублей въ годъ, и ни одного писца ему не полагалось. А у нихъ такая масса дѣлъ скопилась, что и шести писарей не хватало, каждому платили рублей 12 жалованья,—такъ откуда же бралась вся необходимая сумма?

Объ этихъ, какъ говорили, «безгрѣшныхъ доходахъ» знали всѣ—и начальство, да и самъ царь.

А мнѣ, когда я, погрузившись въ исторію всёхъ этихъ махинацій по прїѣздѣ въ Сибирь, приходилъ въ ужась, говорили: «Вамъ хорошо толковать, вы богачъ (?)—съ голоду не мрете, такъ о честности и говорить можете».

Но вернемся къ нашимъ странствованіямъ съ *Ө. М.* въ Локтевскій заводъ. Выѣхали мы вечеромъ; у меня была маленькая двухмѣстная телѣжка съ рогожнымъ верхомъ, на длиннѣйшихъ дрогахъ, такъ что въ ней тряску мало чувствовали; сзади привязывался веревками чемоданъ. Съ ямщикомъ сидѣла моя лягавая собака.

Версть двадцать приходилось ѣхать чуднымъ соновымъ боромъ, тянувшимся версть на 200 отъ Семипалатинска. Онъ принадлежалъ, кажется, частью городу, частью казакамъ, но вѣрнѣе никому, такъ какъ всякій рубилъ въ немъ гдѣ и что хотѣлъ. Вообще въ Сибири въ то время отношеніе къ этому вопросу было весьма несложное,—земля считалась «Божескою», садились на ней гдѣ и кто хотѣлъ, особенно за Иртышомъ, въ предѣлахъ Средней и Малой Орды. Киргизы отдавали тамъ 10—20 тысячъ десятинъ за ничто. Все было первобытно; плановъ не знали, а границы опредѣлялись рѣчками, урочищами или попросту словами «сколько въ день объѣдешь».

Мнѣ самому одинъ изъ султановъ предлагалъ большое пространство земли, да еще, говорили, съ мѣдною рудою, за два охотничьихъ ружья и пудъ пороху.

Русская пословица: «кто палку взялъ, тотъ и капраль» вообще широко примѣнялась тогда въ этомъ благодатномъ краѣ.

Такая же безшабашность по захвату владѣній была у насъ и относительно нашихъ зарубежныхъ

земель. Какъ иллюстрацію приведу примѣръ, какъ овладѣли мы мирнымъ путемъ громаднымъ озеромъ Норъ-Зайсанъ, около горъ Тарбагатая, лежавшаго въ то время собственно въ территоріи Китая. Гдѣ кончались наши границы опредѣленно не знали ни мы, ни китайцы; послѣдніе относились къ этому довольно беззаботно.

Изъ грандіознаго озера Норъ-Зайсана вытекаетъ Иртышъ, а съ юга впадаетъ въ него Кара-Иртышъ (Черный Иртышъ). Давно наши казаки зарились на него; озеро кишить рыбой; попадается осетрина, стерлядь, нельма и всякая другая рыба. Зимой отсюда вывозили икру массаами — фунтъ свѣжей осетровой икры стоилъ тогда 10 коп. Но вотъ привлеченные сюда рыболовствомъ казаки мало-по-малу широко воспользовались захватнымъ правомъ, по-маленьку, да по-легоньку всецѣло овладѣли водами и ловлей и въ концѣ смѣло объявили ихъ своею собственностью. Попробовали китайцы было протестовать, потомъ махнули рукой и вскорѣ и Норъ-Зайсанъ и часть горъ Тарбагатая и вокругъ лежація степи были причислены къ нашимъ владѣніямъ. Такимъ образомъ, мы годъ отъ года подвигались все южнѣе, далѣе и далѣе со стороны Копала на р. Илу, далеко за горы Алатау къ рѣкѣ Чу. Протестовъ энергичныхъ не было, такъ какъ полудикіе сосѣди насъ боялись, а кочевые народы охотно переходили въ наше подданство, зачастую сами просили насъ объ этомъ, напримѣръ, кара-киргизы, зимовавшіе на озерѣ Исикъ-Куль.

Перехожу, однако, къ дальнѣйшему описанію нашего путешествія. Смеркалось, но намъ не спалось; чудный смолистый воздухъ оживлялъ насъ, да и бодрствовать было не излишне, такъ какъ намъ было извѣстно, что въ бору пошаливали бѣглые каторжники и разный темный людъ.

За лѣсомъ начинались необозримыя поля и густыя рощи. Изрѣдка разбросаны на разстояніи версты одна отъ другой деревянныя небольшія избы, окруженныя огородами, тутъ же находились войлочные юрты; около нихъ поля пшеницы, ячменя, овса и конопли; это были такъ называемыя «зимовья» мѣщанъ, татаръ и казаковъ. Вся эта необъятная поляна именовалась степью. Воды здѣсь не было, колодцы давали горько-солонатовую воду, пригодную только для скота, и, какъ намъ пояснилъ нашъ ямщикъ, опытъ заставилъ обитателей изобрѣсти остроумный способъ имѣть хорошую, свѣжую и пріятную воду въ самую большую жару. Вотъ что было придумано: зимою подлѣ каждой избы нагребали груды снѣга, въ видѣ высокой скирды, утрамбовывали его и покрывали толстыми кошмами (войлокомъ), поверхъ которыхъ накладывали еще соломы въ 1 и 2 аршина вышиной. Въ жару изъ скирды по желобку сочилась чудная студеная вода; когда же требовалось большее ея количество, то откалывали топоромъ большой комъ снѣга и оттаивали его.

Несмотря на занимательныя сообщенія нашего ямщика и чудесную природу, насъ окружавшую, усталость все же сказывалась. Свѣтало... а насъ неудержимо клонило ко сну; мы дремали, упираясь въ спину нашего словоохотливаго возницы, а такъ какъ при сильномъ толчкѣ рисковали полусонные выскочить изъ нашей телѣжки, то мы для равновѣсія расположились обнявшись. Но все ярче и ярче разгоралась утренняя заря. Огромное зарево, какъ гигантскій пожаръ, все болѣе и болѣе охватывало небосклонъ, на западѣ кровавымъ яркимъ дискомъ выплывало, какъ бы изъ нѣдръ земли, солнце, озаряя всю степь и пригрѣвая насъ. Въ воздухѣ стоялъ чудный запахъ полыни. Мы встрепенулись. Стада

верблюдовъ, лошадей и особенно много овецъ паслись кругомъ; все это принадлежало крестьянамъ и семипалатинскимъ мѣщанамъ. Киргизы предпочитали степь за Иртышомъ; степь эта называется «Бѣлогачьская». Отсюда уже мы не ѣхали, а мчались, какъ птицы. Лишь только приставала лошадь, ямщикъ киргизъ садился на нее верхомъ, подскакивалъ къ ближайшему табуну и, сдавъ свою лошадь пастуху, на слово, выбиралъ любую изъ косяка, садился на нее и припрягалъ на арканѣ къ телѣгѣ. Лошадь сначала упрямылась, но нагайка и полный ходъ скоро ее успокаивали.

Наконецъ мы пріѣхали на второе зимовье. Поставили самоваръ. *Ө. М.* занялся чаемъ, а я схватилъ ружье и отправился на ближайшее отъ поселка озеро.

Насколько мало птицы въ лѣсахъ Сибири, настолько богата ею степь, озера и камыши. Все кишитъ птицей, особенно во время прилета и отлета. Бывало, стонъ въ воздухѣ стоитъ, не слышно голоса человеческого, когда послѣ выстрѣла взвѣются эти испугнутыя мириады пернатыхъ. А какіе стрѣлки замѣчательные были мѣстные обыватели,—просто я диву давался. Стрѣляли они у меня на глазахъ, наприкладъ, бѣлокъ маленькою пулькою величиною съ дробину и обязательно попадали въ лобъ, чтобы не портить шкуру. А что за атлеты былъ здѣшній народъ, плотные, здоровые, что называется «косая сажень въ плечахъ», любо-дорого было на нихъ глядѣть.

Надо добавить, что весь горный Алтайскій округъ принадлежалъ Императорскому Кабинету, а потому тамъ никогда не селили ссыльныхъ, и всѣ обитатели этихъ мѣстъ отличались зажиточностью и миролюбіемъ. Большинство изъ нихъ были старовѣры, давно

когда-то бѣжавшіе изъ Россіи въ невѣдомыя дебри горъ Алтая.

Послѣ непродолжительной, но очень удачной охоты, я вернулся къ Ѳ. М., попивавшему чай, увѣшанный со всѣхъ сторонъ моими трофеями—дичью. Присѣлъ и я за самоварчикъ; немедля же подсѣли и радушные хозяева. Старуха какъ-то странно поглядывала на меня, все ухмылялась и подмигивала, называя почему-то меня «нашъ-то». Разговорился я съ ней; оказалось, что старуха, которую я сразу не узналъ, была какъ-то по дѣлу въ Семипалатинскѣ, нуждалась въ совѣтѣ, я сдѣлалъ, что могъ, а она на другой же день, въ видѣ благодарности, притащила мнѣ боченокъ меда. Я, конечно, отъ него отказался и старуху съ боченкомъ прогналъ. А теперь-то въ разговорѣ съ ней и выяснилось, что этотъ боченокъ съ медомъ не миноваль-таки рукъ моего мошенника письмоводителя, и вотъ старуха, повидимому, трунила надъ моей молодостью и непрактичностью.

Любопытную штуку показалъ намъ тутъ же старикъ хозяинъ. Въ углу избы, около иконъ, ласточка свила гнѣздо. Дабы она могла безпрепятственно влетать и вылетать, хозяинъ нарочно вынулъ кусокъ стекла въ оконной рамѣ. Хата была низкая, гнѣздо было въ уровень съ моей головою и легко можно было наблюдать все, что происходитъ въ немъ. Дѣтеныши уже подросли и жадно бросались на приносимую матерью пищу. Чтобы они не выпали изъ гнѣзда, каждая птичка была, такъ сказать, привязана, у каждой изъ нихъ одна лапа была обмотана конскимъ волоскомъ или ниткою, а другой конецъ былъ вклеенъ глиною въ самое гнѣздо. Когда запирались окна и двери, ласточка садилась на окно и ловила мухъ и таракановъ. Хозяева, видимо, гордились своей птичкою. Да и дѣйствительно, это было чудо ума и смѣливости птицъ.

Но настала пора распрощаться съ гостепрїимными хозяевами, — путь намъ предстоялъ еще порядочный. По дорогѣ къ Локтевскому заводу, цѣли нашего путешествія, мы останавливались у кладбища, а завидѣвъ рѣку, страшно обрадовались, такъ какъ отъ черноземной пыли мы обратились въ негровъ, и намъ очень кстати было привести себя въ болѣе приличный видъ; купанье къ тому же и очень освѣжило насъ, такъ какъ день былъ страшно знойный.

Наконецъ мы и въ Локтевскомъ заводѣ. Наши милые хозяева шумно и радостно встрѣтили насъ. Какъ водится по сибирскому обычаю, прїѣздъ нашъ немедленно вспырнули шампанскимъ. Безъ него не проходило въ Сибири мало-мальски неожиданное событіе, въ особенности у горныхъ инженеровъ: встрѣча, проводы, радость, горе—все служило поводомъ распить «*Veuve Cliquot*». Особеннымъ хлѣбосольствомъ отличался лѣсничій, капитанъ Коптевъ. Онъ завѣдывалъ приписанными къ заводу лѣсами, поставкою угля, дровъ и продажею строевого лѣса. Сколько онъ получалъ жалованья—не знаю, но жилъ бариномъ.

Два слова о Локтевскомъ заводѣ. Онъ лежалъ на возвышенности, въ довольно голой степи на рѣкѣ Селей; жителей въ немъ было 6000 человекъ. Руду возили издалека, изъ рудниковъ: Риддерска и Зміевскихъ прїисковъ. Въ мое время ежегодно выплавляли до 150 т. пудовъ свинца и 150 пудовъ серебра. Близъ завода было озеро, кишѣвшее водяной дичью; кромѣ того озеро это славилось своими щуками и карасями. Щуки попадались въ 35 фунтовъ, а караси въ 7 фунтовъ были не рѣдкость.

Въ этотъ нашъ прїѣздъ въ Локтевскій заводъ мы застали тамъ главнаго начальника Алтайскаго округа, горнаго генерала А. Р. Гернгросса, образованнаго, любезнаго и гуманнаго. Я знавалъ въ Петербургѣ



близко всю его родню, и здѣсь мы съ нимъ скоро сошлись. Я представилъ ему Достоевскаго; онъ отнесся къ нему очень привѣтливо и настойчиво приглашалъ его вмѣстѣ со мной погостить къ себѣ въ Барнауль и Змѣиногорскъ, гдѣ имѣлась великолѣпная казенная дача, въ которой семейство генерала проводило лѣто.

Но въ Змѣиногорскъ Достоевскаго начальство не отпускало, такъ какъ это было довольно далеко отъ Семипалатинска, боялись доноса, да и время то было тревожное, готовились къ походу, и *Θ. М.* могъ быть того и гляди вытребованъ по службѣ.

Теперь, заканчивая эту главу, я хочу сказать только нѣсколько словъ о томъ, съ какой чуткостью и достоинствомъ, несмотря на свое крайне щекотливое общественное положеніе, держалъ себя Достоевскій въ обществѣ. Вѣдь та среда, въ которой мы вращались, не отличалась особенной культурностью. Кромѣ того, начальство тамъ было типа «бурбоновъ», грубое и заносчивое.

Никогда, конечно, *Θ. М.* не проявлялъ ни малѣйшаго заискиванія, лести, желанія проникнуть въ общество и въ то же время былъ въ высшей степени сдержанъ и скромнень, какъ бы не сознавая всѣхъ выдающихся своихъ достоинствъ. Благодаря своему такту, онъ, какъ я упомянулъ еще въ началѣ своего разказа, пользовался всеобщимъ уваженіемъ.

### **Несчастливая любовь Достоевскаго. — Тайная наша поѣздка съ Достоевскимъ. — Приѣздъ генераль-губернатора.**

Вернувшись изъ Локтевскаго завода, мы застали городъ въ большомъ возбужденіи. Изъ Омска пришло извѣстіе, что въ виду тревожнаго положенія на юж-

ной границѣ и волненій среди киргизовъ,—ѣдетъ самъ генераль-губернаторъ, произведетъ смотръ войскамъ, по случаю выступленія въ походъ, будетъ также, говорили, произведена ревизія присутственныхъ мѣстъ.

Необходимо было приготовить на всякій случай и Достоевскому въ походъ; нужно было озаботиться купить сапоги, подошвы, непромокаемую куртку, самое необходимое изъ бѣлья,—однимъ словомъ, экипироваться съ ногъ до головы, такъ какъ у него, можно сказать, всего имущества было только то, что на немъ. Опять нужны деньги, опять заботы и тревога, откуда ихъ ему взять? Проклятый денежный вопросъ никогда не давалъ ему покоя. Братъ Миша и тетка прислали ему недавно малую толику,—просить еще и еще было тяжело, а деньги у Достоевскаго какъ-то не держались къ тому же. Конечно, нужда матеріальная изводила его, а тутъ еще изъ Кузнецка шли безотрадныя вѣсти, одна тревожнѣе другой. М. Д. Исаева, уѣхавъ въ глушь съ мужемъ, пьянымъ и вѣчно больнымъ, томилась и скучала. Всѣ письма ея были переполнены жалобами на свое полное одиночество, на страшную потребность обмѣняться живымъ словомъ, отвести душу. Въ послѣдующихъ письмахъ все чаще и чаще ею стало упоминаться имя новаго знакомаго въ Кузнецкѣ, товарища мужа М. Д., симпатичнаго молодого учителя. Съ каждымъ письмомъ отзывы о немъ становились все восторженнѣе и восторженнѣе, восхвалялась его доброта, его привязанность и его высокая душа. Достоевскій терзался ревностью; жутко было смотрѣть на его мрачное настроеніе, отражавшееся на его здоровьѣ.

Мнѣ страшно стало жаль его, и я рѣшился устроить ему свиданіе съ Маріей Дмитріевной на поль-пути

между Кузнецкомъ и Семипалатинскомъ въ Зміевѣ, куда еще недавно насъ такъ радушно зазывалъ горный генераль Г. Очень я рассчитывалъ также, что эта встрѣча и объясненіе положить конецъ несчастному роману Достоевскаго. Но вотъ въ чемъ была задача: какъ довести *Θ. М.* туда, за 160 верстъ отъ Семипалатинска, такъ, чтобы эта поѣздка осталась тайной. Какъ я уже говорилъ выше, начальство такихъ дальнихъ поѣздокъ не разрѣшало. Губернаторъ и батальонный командиръ *Θ. М.* отрѣзъ ужъ два раза отказали отпустить его со мною въ Зміевъ. Ну, думаю, была не была Открылъ мой планъ Достоевскому. Онъ радостно ухватился за него; совсѣмъ ожилъ мой *Θ. М.*, больно ужъ влюбленъ былъ бѣдняга. Немедля я написалъ въ Кузнецкъ Маріи Дмитріевнѣ, убѣждая ее непременно пріѣхать къ назначенному дню въ Зміевъ. Въ городѣ же распустилъ слухъ, что послѣ припадка *Θ. М.* такъ слабъ, что лежитъ. Даль знать и батальонному командиру Достоевскаго; говорю: «болень бѣдняга, лежитъ и лечитъ его военный врачъ Lamotte». А Lamotte, конечно, за насъ, другъ нашъ былъ, чудной, благородной души человекъ, полякъ, студентъ бывшаго Виленскаго университета, высланъ былъ сюда на службу изъ-за политическаго какого-то дѣла. Прислугѣ моей было приказано всѣмъ говорить, что Достоевскій болень и лежитъ у насъ. Закрыли ставни, чтобы какъ будто не потревожить больного. Велѣно никого не принимать. На счастье наше все высшее начальство, начиная съ военнаго губернатора, только что выѣхало въ степи.

Словомъ, все благопріятствовало. Благословясь, двинулись въ путь въ 10 ч. вечера. Можно сказать, не ѣхали, а вихремъ неслись, чего, повидимому, совсѣмъ не замѣчалъ мой бѣдный *Θ. М.*; увѣряя, что

мы двигаемся черепашьимъ шагомъ, онъ то и дѣло по-нукаль ямщиковъ. Миновавъ Локтевскій заводъ, мы на утро были въ Зміевѣ. Каково же было разочарованіе и отчаяніе Достоевскаго, когда стало извѣстно намъ, что М. Д. не пріѣдетъ; вмѣсто же нея Ѳ. М. было передано письмо, въ которомъ М. Д. извѣщала, что мужу значительно хуже, отлучиться не можетъ, да и пріѣхать не на что, такъ какъ денегъ нѣтъ. Настроеніе Достоевскаго описывать не берусь: я только ломалъ себѣ голову, какимъ способомъ я его успокою.

Въ тотъ же день мы поскакали обратно и, отмахавъ 300 верстъ въ 28 часовъ «по-сибирски», счастливо добрались домой, переодѣлись и, какъ ни въ чемъ не бывало, пошли въ гости. Такъ никто никогда въ Семипалатинскѣ и не узналъ о нашей продѣлкѣ.

Потекла наша жизнь по старому: Ѳ. М. хандрить или порывисто работаль; я, какъ умѣль, его развлекаль. Да больно ужъ бѣдна впечатлѣніями была наша унылая жизнь. Послѣ томительныхъ часовъ ежедневной службы, къ роду которой ни Ѳ. М., ни мое сердце не лежало, чѣмъ заполняли мы наши дни?

Всѣ тѣ же прогулки вдоль Иртыша, уходъ за цвѣтами, купанье, чаепитіе на балконѣ съ длинными чубуками. Впрочемъ, я, какъ страстный рыболовъ, еще удиль рыбу, а Достоевскій, лежа тутъ же на травѣ, читаль зачастую вслухъ, перечитывая большею частью въ безсчетный разъ скудный запасъ нашихъ книгъ. Читаль онъ мнѣ, помню, между прочимъ «для руководства» Аксакова «Уженье рыбы» и «Записки ружейнаго охотника». Библіотеки въ городѣ не было. Множество привезенныхъ мною книгъ по геологіи и естественнымъ наукамъ и другимъ спеціальнымъ предметамъ я дочиталь, кажется, до того, что зналъ наизусть. Достоевскій больше предпочиталь литера-

туру, и на каждую новую книгу мы набрасывались съ жадностью. Но монотонность наших дней испу-палась тѣми минутами, когда на *Θ. М.* находилъ порывъ творчества. Настроеніе его дѣлалось въ то время такое приподнятое, что возбужденіе его не-волью отражалось и на мнѣ. Казалось, и жизнь семипалатинская становилась какъ будто сноснѣе; но настроеніе это такъ же внезапно, къ сожалѣнію, падало въ тѣ времена, какъ и приходило. Достаточно было невеселой вѣсти изъ Кузнецка—и все пропало, хирѣль и завядалъ мой *Θ. М.*

Посѣтителей, послѣ исторіи съ ужами, мы со-всѣмъ не видали. Но вотъ однажды, неожиданно-не-гаданно явилась къ намъ одна весьма оригинальная гостья. Въ городѣ прошелъ какъ-то слухъ, что у городского головы Сидора Ивановича С., человѣка немолодого, вдовца, державшаго цѣлый гаремъ, объ-явилась замѣчательная обновка изъ Омска, какая-то женщина, высланная изъ Омска въ Семипалатинскъ и состоящая подъ присмотромъ полиціи—молодая цыганка, очень красивая, съ хорошимъ голосомъ, брэнчала на гитарѣ, пѣла и съ ума сводила всѣхъ и вся,—по общему отзыву была шальная. Семипалатин-ская «jeunesse dorée» дала ей кличку—«огонь-вода», по свойству ея непостояннаго характера. Съ Омскѣ же она была извѣстна подъ прозвищемъ «Ванька-Танька». Достоевскій вспомнилъ, что зналъ ее, бу-дучи въ острогѣ, въ числѣ «калачницъ», но болѣе высокаго полета.

Что касается прозвищъ, то въ Сибири это было въ большой модѣ, особенно между татарами и кирги-зами: всѣмъ давали какую нибудь кличку; такъ у меня было наименованіе «Карасакалъ», т. е. черная бо-рода или, вѣрнѣе, черные бакенбарды, которые я въ то время носилъ, и усы, которые, какъ говорили тогда,

носилъ я «по вольности дворянской», и они-то чуть не надѣлали мнѣ большой служебной неприятности; ради курьеза расскажу вполнѣдствіи объ этомъ.

О Ванькѣ-Танькѣ мы узнали, что Сидоръ Ивановичъ въ ней души не чае, ходитъ она въ шелковыхъ и бархатныхъ сарафанахъ и вообще живетъ припѣваючи; мы ея еще нигдѣ не встрѣчали.

Однажды, попивая съ Достоевскимъ чай на террасѣ, смотрѣли мы, какъ наши дѣвы цвѣты поливали; прибѣгаетъ Адамъ и докладываетъ, что пришла молодая женщина и желаетъ видѣть Ѳ. М., «да и твоего барина».

Ее впустили садомъ; уже издали Достоевскій узналъ въ ней свою острожную знакомую—Ваньку-Таньку. Она была дочь цыганки, сосланной за убійство своего мужа изъ ревности. Сама Танька была замѣшана въ дѣлѣ ссыльныхъ поляковъ и венгерцевъ и бѣгствѣ двухъ изъ нихъ изъ Омскаго острога въ 1854 году.

Цѣль этого побѣга была крайне сумасбродна: пробраться въ степь, поднять недовольныхъ киргизовъ, присоединиться къ ханскимъ войскамъ и идти съ ними освобождать товарищей,—что-то ужъ больно несуразное.

И вотъ шумно и радостно вбѣжала къ намъ наша новая гостыя. Это была смуглая женщина лѣтъ 20—22; глаза черные, какъ горячіе уголья, жгли, волосы непослушными завитками обрамляли ея лицо; она все время улыбалась, сверкая своими, какъ отборный жемчугъ, зубами. Средняго роста, сухощавая, гибкая и въ высшей степени подвижная,—такова была наша посѣтительница. Встрѣчѣ съ Достоевскимъ видимо искренно обрадовалась и, по острожной привычкѣ, говорила ему «ты». Со мной не церемонилась, смѣло, первая, не ожидая вопросовъ, подѣла къ

намъ, заливаясь звонкимъ смѣхомъ и видимо желая на меня, какъ на незнакомаго еще ей, произвести впечатлѣніе. Кокетка она, говорятъ, была отчаянная и мысли не могла допустить, что кто-нибудь можетъ пройти мимо нея не очарованный.

Вотъ отрывокъ изъ нашей непринужденной съ ней бесѣды. «Хорошо живете здѣсь», какъ-то нараспѣвъ произнесла она своимъ глубокимъ голосомъ, поводя глазами. «Давно собиралась въ гости къ Ѳ. М., да мой старый козелъ отговаривалъ,—не ходи, да не ходи!—говоритъ, гордый баринъ, выгонитъ», послѣднія слова проговорила, оборотясь ко мнѣ всѣмъ корпусомъ и какъ бы впиваясь въ меня своими чарующими глазами. Ѳ. М., видя мое невольное замѣшательство,—былъ я и юнъ и нелюдимъ,—поспѣшилъ, какъ бы перемѣнить разговоръ. «Чему удивляетесь?» ничуть не смущаясь, продолжала она. «Мать и я жрать хотимъ, ну и живу ради денегъ... да не милъ мнѣ мой старый хрычъ... А ты не въ свое дѣло не мѣшайся!» оборвала она ни за что ни про что Ѳедора Михайловича. Видя, что я вяло отзываюсь на ея бойкую рѣчь, и увидавъ поливающихъ въ саду дѣвицъ, она какъ-то хитро подмигнула, вскочила и въ мигъ очутилась подлѣ нихъ; несмотря на свой шелковый сарафанъ, подоткнула его и принялась за поливку нашихъ цвѣтовъ, понукая дѣвицъ и распоряжаясь, какъ у себя дома. Приморившись немного, а можетъ видя наше равнодушіе къ ея чарамъ, она, попивъ съ нами чаю, недолго еще оставалась, но, уходя, побѣщала приходить «почаще». Ѳ. М. почему-то очень встревожился этимъ общаніемъ, ради меня и моей молодости, тутъ же далъ мнѣ совѣтъ ей въ полонъ себя не давать: «заворожить и въ чахотку вгонитъ, не поддавайтесь», дружески предостерегъ онъ меня. Но я и не думалъ о ней; она же, встрѣтившись еще

нѣсколько разъ съ нами, видя мое полное равнодушіе, больше уже къ намъ не появлялась.

Достоевскому же эта встрѣча послужила поводомъ занести новую главу въ свои «Записки изъ Мертваго дома» (глава IX, Побѣгъ). Я уже упоминалъ выше, что въ этотъ періодъ нашей совмѣстной жизни *Θ. М.* работалъ надъ своимъ знаменитымъ произведеніемъ «Записками изъ Мертваго дома». Мнѣ первому выпало счастье видѣть *Θ. М.* въ эти минуты его творчества, первому довелось слушать наброски этого неподобного произведенія, и еще теперь, спустя долгіе годы, я вспоминаю эти минуты съ особеннымъ чувствомъ. Сколько интереснаго, глубокаго и поучительнаго довелось мнѣ черпать въ бесѣдахъ съ нимъ. Замѣчательно, что, несмотря на всѣ тяжкія испытанія судьбы: каторгу, ссылку, ужасную болѣзнь и непрестанную матеріальную нужду, въ душѣ *Θ. М.* неугасимо теплились самыя свѣтлыя, самыя широкія человѣческія чувства. И эта удивительная, несмотря ни на что, незлобивость всегда особенно поражала меня въ Достоевскомъ.

Но перейдемъ къ дальнѣйшему повѣствованію о нашей семипалатинской жизни.

Пришло извѣстіе, что генераль-губернаторъ Гасфордъ выѣхалъ изъ Омска въ Копаль, затѣмъ посѣтитъ Вѣрное, а черезъ двѣ-три недѣли надо было его поджидать и къ намъ. Все встрепенулось, войска упражнялись, чиновники работали, все приводилось въ порядокъ, чистилось и красилось. Я полагаю, у многихъ поднимался вопросъ: а что какъ накроетъ «ревизоръ». Особенно интересовались, кто изъ чиновниковъ Омскаго Главнаго Управленія будетъ сопровождать генерала для ревизіи? Узнавъ, что приѣдетъ совѣтникъ С..., немного успокоились: «ну, съ этимъ-то не такъ страшно, можно «поторговаться».



Только и дорогъ же онъ, шельма», прибавляли при этомъ. Ёхалъ къ намъ и Крамеръ, мой пріятель, избавившій меня въ Омскѣ отъ билліарднаго ложа. При имени его чиновничьи фізіономіи вытягивались. «Ахъ! песь его возьми! ну его! Ну, къ чему ему-то ёхать!»

И вотъ въ началѣ іюля прискакалъ казакъ «летучка» съ извѣстіемъ, что гроза приближается, что «самъ» уже въ Аягузѣ,—а завтра прибудетъ къ намъ.

Двумя днями ранѣе прибыли ревизоры и два адъютанта съ докладами и бумагами для губернатора. Въ день пріѣзда, уже чуть-свѣтъ все высыпало на берегъ рѣки. День былъ ясный, солнечный. Мы, чиновники, переѣхали на ту сторону Иртыша къ самой Киргизской слободѣ. По приказу мы явились всѣ въ вице-сюртукахъ, такъ какъ послѣ долженъ былъ состояться пріемъ у генераль-губернатора. Рѣка была усеяна плотами и лодками. Очень типично было зрѣлище пестрой толпы. Немного особнякомъ стояли пріѣхавшіе аристократы изъ Омска, свысока оглядывавшіе нашу братью.

Генераль Спиридоновъ, начальникъ округа Ш., приставъ киргизовъ, а также масса почетныхъ киргизовъ въ жалованныхъ халатахъ и татаръ изъ разныхъ ханствъ: Рахимъ-бей, Букашъ и другіе, уѣхали далеко на встрѣчу,—первые на своихъ тройкахъ, послѣдніе на своихъ аргамакахъ. Тысячи киргизовъ, глазѣя, напирали на насъ; съ ними не церемонились, отгоняли нагайками.

Долго ждали мы, испеклись на солнцѣ, проголодались, въ горлѣ пересохло. Но вотъ вдали показались несущіеся во весь карьеръ три всадника. Толпа заколыхалась. Это были летучки,—авангардъ. Черезъ полчаса, значить, ожидай, «самъ» пожалуетъ. Такъ и вышло. Далекое, версты за три поднялось огромное

облако пыли, все ближе и ближе къ намъ; скоро ясно обрисовались скакавшія впереди съ колоколами тройки,—это и было наше съ такимъ трепетомъ ожидаемое начальство. За ними летѣлъ тарантасъ, запряженный восемью лошадьми по четыре въ рядъ, за тарантасомъ еще и еще тройки—свиты. Сотня киргизовъ въ яркихъ халатахъ, составляя почетную свиту, живописно гарцовала по сторонамъ. Пыль столбомъ,— всѣ путешественники отъ нея черные, какъ негры.

Лошади генераль-губернаторскаго тарантаса такъ разогнались, что не будь десятка услужливыхъ чиновничьихъ рукъ, остановившихъ за уздцы разгоряченный восьмерикъ, быть бы генераль-губернатору съ супругою въ рѣкѣ Иртышѣ.

Почему Гасфордъ таскалъ повсюду свою жену,— чиновничество недоумѣвало.

Старикъ Гасфордъ, выйдя изъ экипажа, едва кивнулъ намъ.

Началась переправа; все двинулось на тотъ берегъ за нимъ.

Приведя себя въ порядокъ въ отведенномъ ему домикѣ, генераль поѣхалъ въ церковь. Ожидали его и въ мечети, гдѣ собралось все магометанское духовенство, но онъ заглянуть туда не счелъ нужнымъ.

Мнѣ приказано было присутствовать повсюду.

Двинулись мы прежде всего на ревизію дѣлъ окружнаго суда,—вѣдомства, до котораго я, какъ исполняющій должность областного прокурора, не имѣлъ никакого дѣла. Попробовалъ я было запротестовать, объяснилъ Крамеру. «Ради Бога, не перечьте вы старику, какую бы чушь онъ ни говорилъ, не любить онъ возраженій»,—отвѣчалъ онъ мнѣ. При всемъ моемъ самомъ искреннемъ стремленіи начальству не перечить, невольно пришлось и очень скоро.

Приступивъ къ ревизіи, Гасфордъ выбралъ нѣсколько дѣлъ наугадъ. Попались оба, какъ разъ мошеннически веденныя; пробѣжалъ бѣгло и вдругъ набросился на меня, отчего я ихъ не подписалъ.

Докладываю: «Ваше высокопревосходительство, я по закону не обязанъ пропускать журналы округа, а только областного правленія, такъ полагается закономъ. «Я здѣсь приказываю—я законъ», рѣзко оборвалъ онъ меня. «Какъ угодно будетъ приказать министру юстиціи», говорю. «Что?!!» дикимъ голосомъ кричитъ генералъ, «здѣсь я—министръ юстиціи!»

Тутъ ужъ и меня зло взяло: «Слушаю», говорю, «ваше высокопревосходительство, прошу только въ такомъ случаѣ дать мнѣ предписаніе».

Крякнулъ тутъ старикъ, помолчалъ и значительно ниже тономъ сказалъ: «*Bien, nous en reparlerons!*»... и обернулся къ слѣдующему чиновнику.

День этотъ прошелъ для всѣхъ ревизуемыхъ весьма грозно и безтолково. Отсюда двинулись мы на ревизію въ Областное правленіе. Тутъ ревизовалъ знаменитый Спасскій—опасаться было нечего, что при покладливости ревизора все сойдетъ благополучно. Но вотъ наша несложная ревизія, повидимому, утомила генерала,—онъ проголодался и рѣшилъ, что необходимо передохнуть. Я предложилъ осмотрѣть острогъ и арестантовъ,—мое вѣдомство,—но это было отклонено. «Что мнѣ тамъ дѣлать? Богъ съ ними», былъ отвѣтъ Гасфорда, и онъ поспѣшно направился къ экипажу: время было завтракать, а послѣ того пріемъ и представленіе чиновничества. Это меня огорчило: все послѣднее время меня такъ мучило мое полное безсиліе принести существенную пользу въ сферѣ дѣятельности моей службы, и вдругъ такое отношеніе къ дѣлу высшаго начальства,—просто падала энергія и руки опускались.

Собственно настоящей тюрьмы для арестантовъ въ Семипалатинскѣ не было, ни этапнаго двора для пересыльныхъ, тогда всѣ эти постройки были только въ проектѣ. Арестанты содержались въ казармахъ батальона на гауптвахтѣ. Было отведено всего двѣ большихъ комнаты для мужчинъ арестантовъ и одна маленькая для женщинъ. Люди въ нихъ биткомъ буквально были набиты, спали не только въ повалку, но многіе сидя на корточкахъ, такъ какъ повернуться было негдѣ. Тутъ арестанты не только спали, ѣли, работали, но и пища варилась имъ тутъ же, такъ какъ кухни особой при гауптвахтѣ не было. При этомъ тутъ же стояли знаменитыя «параша». Удушливый, смрадный воздухъ былъ нестерпимъ; въ мое первое посѣщеніе у меня такъ закружилась голова, что я чуть не упалъ. И при адской семипалатинской лѣтней температурѣ (на солнцѣ во время жары мы, случилось, пекли яйца въ песокъ — такъ было жарко) у арестантовъ и двора погулять не было! Смотритель тюрьмы былъ неграмотный инвалидный солдатъ, унтеръ-офицеръ, и у него два помощника солдата. Они ровнехонько ничего не дѣлали, обирали арестантовъ, урѣзывая имъ провизію, дѣлали себѣ доходы на дровахъ, за малѣйшую льготу тянули съ нихъ послѣдній грошъ. Никто рѣшительно не заботился о тюрьмѣ и арестантахъ, и я долго не могъ добиться, куда и къ кому, къ какому вѣдомству мнѣ обращаться по моему дѣлу. Положимъ, по новизнѣ только что налаживаемаго дѣла въ Области все было неурегулировано, по всякому ничтожному вопросу, ломанаго гроша не стоящему, испишешь бывало кипы бумаги, шла безконечная переписка, пока добьешься чего-либо изъ Омска или Петербурга. Что могъ, то дѣлалъ, но вѣдь это была такая ничтожная доля изъ всего того существеннаго, что слѣдовало наладить

по этому вопросу. Взаяся я за дѣло съ самымъ добрымъ и горячимъ желаніемъ принести пользу; ѣздилъ въ тюрьму для опроса и принятія жалобъ не менѣе двухъ разъ въ недѣлю, устроилъ форточки, наблюдалъ, чтобы въ пищѣ недостатка не было, выхлопоталъ право ходить въ баню, такъ какъ до этого въ баню арестантовъ не пускали,—за неимѣніемъ достаточнаго числа солдатъ караульныхъ для наблюденія за арестантами, отправляющимися въ баню.

Ну, а о большемъ и мечтать не приходилось,—да и эти малозначащія улучшенія и интересъ къ дѣлу породили только цѣлый рядъ недоброжелателей, которые готовы были меня подъ уголовщину не разъ подвести. Пускались на разныя хитрости: убѣдившись, что я не только самъ взятокъ не беру, но и другимъ, гдѣ могу, давать не позволяю, они задумали меня обойти иначе. Зная, съ какой страстью я въ то время занимался минералогіей и составлялъ коллекціи, они пробовали подносить мнѣ, какъ бы въ видѣ презента, то большой самородокъ золота, то соблазнить кристалломъ берилла или смарагда,—ну, да потомъ кончили тѣмъ, что рѣшили, что самое лучшее было бы подобнаго, какъ я, непригоднаго человѣка совѣмъ отъ нихъ убрать, и только и думали, какъ бы мнѣ ножку по службѣ подставить.

Но я такъ увлекся моими горькими воспоминаніями, что покинулъ, какъ видитъ читатель, очень надолго моего генераль-губернатора.

Я говорилъ уже, что передъ обѣдомъ ожидался пріемъ генераломъ чиновничества. Чиновниковъ представлялъ губернаторъ. Я былъ одинъ изъ первыхъ представлявшихся. На мнѣ была парадная форма, придуманная для Сибири самимъ Гасфордомъ: «*roug imposeur à ces sauvages*», какъ онъ сказалъ мнѣ еще

ранѣ въ мою бытность въ Омскѣ. Форма была красивая, я первый привезъ ее изъ Петербурга, и служила она другимъ образцомъ. Однобортный сюртукъ съ шитьемъ по вѣдомству, брюки съ широкимъ генеральскимъ лампасомъ, золотымъ или серебрянымъ, смотря по мундиру, фуражка съ шитьемъ, легкая кавалерійская на золотой португелъ сабля, военная шинель со жгутами по чину, а во время командировки въ степь — шпоры и пистолеты на шнурѣ.

Я не терялъ надежды, что при представленіи генералу онъ задастъ мнѣ вопросъ по вѣдомству—ну, думаю, выложу ему всѣ накопившія нужды. Но разочарованіе мое было полное. Генераль обратилъ вниманіе прежде всего на свое изобрѣтеніе,—мой мундиръ. «Хорошо сидитъ, навѣрно шили въ Петербургѣ»,—сказалъ генераль; «но сюртукъ на три вершка у васъ длиннѣе противъ предписанія,—*«faites le souper»*. Но тутъ же, въ видѣ одобренія, прибавилъ: «будущій годъ дамъ вамъ всѣмъ форменныя уздечки, чепраки и сѣдла».

Я понялъ, что бесѣда о тюрьмѣ, больницахъ или училищѣ была бы несвоевременна. Разговоръ нашъ на этомъ и былъ законченъ, при чемъ я получилъ приглашеніе на обѣдъ. Изъ слѣдовавшихъ за мной товарищей многіе удостоились и распеканціи,—не мало, вѣроятно, ухудшилось расположеніе духа генерала отъ маскараднаго вида представлявшихъ ему чиновниковъ въ новой формѣ. Что это была за умора,—трудно описать!

Старомодные, домашнимъ способомъ перешитые сюртуки, приспособленные къ случаю отцовскія сабли; всѣ какъ-то выпячивали грудь по-военному, просто безъ смѣха смотрѣть нельзя было. Но кому особенно влетѣло,—это бѣдному батюшкѣ: почему онъ не трезвонилъ при вѣздѣ генераль-губернатора въ Семипалатинскъ.

Батюшка робко и скромно замѣтилъ, что «по смыслу церковнаго наказа трезвонять привѣтствіе царю или царскимъ особамъ». Старикъ Гасфордъ расхохорился, задвигался: «Здѣсь я царь! чтобъ въ слѣдующій пріѣздъ, приказываю, трезвонить во всѣ колокола!»—грозно закончилъ онъ.

Но, несмотря на всѣ эти выходки, слѣдуетъ все же сказать, что въ сущности Гасфордъ былъ добрый старикъ,—но что подѣлаешь,—слабость имѣлъ напускать на себя важность и грозность.

Имѣлъ онъ и еще одну слабость,—страшный охотникъ былъ до составленія всевозможныхъ проектовъ. Такъ, на примѣръ, онъ сочинилъ «Новую религію для киргизовъ». Киргизы, надо сказать, хотя и были магометане, но совсѣмъ не фанатики. Вотъ Гасфордъ и задумалъ дать имъ новую религію «вродѣ православной», и говорятъ, что когда этотъ проектъ провалился въ Петербургѣ,—ужасно разбидѣлся бѣдный, но, кажется, унывалъ недолго и вскорѣ принялся за новый. Когда онъ былъ кѣмъ нибудь недоволенъ, онъ говорилъ: «Вы, миленькій», а прочимъ «ты».

Какъ я уже сказалъ выше, я былъ въ числѣ приглашенныхъ въ этотъ день къ генералу на обѣдъ. Жену его я отлично зналъ по Петербургу. Она встрѣтила меня очень привѣтливо и усадила меня подлѣ себя на диванъ. Вошедшіе вслѣдъ за мной мои товарищи, видя меня на диванѣ непринужденно бесѣдующимъ, нашли это такой необычайной развязностью и смѣлостью, что объ этомъ долго въ городѣ судачили, какъ о какомъ-то событіи. Жалкій былъ городишка, скудный впечатлѣніями, увязшій въ сплетняхъ и дрызгахъ.

Во время обѣда генераль нашъ совсѣмъ преобразился; чувствовалось, что говоришь съ обыкно-

веннымъ смертнымъ. Былъ въ духѣ, разспрашивалъ меня о моихъ родныхъ и, между прочимъ, сказалъ, что знаетъ о моихъ дружескихъ отношеніяхъ съ Достоевскимъ. Дай, думаю, воспользуюсь его добрымъ настроеніемъ, расположу его въ пользу Ѳ. М. Незадолго передъ этимъ Достоевскій написалъ стихи на смерть императора Николая I. Обсудивъ съ нимъ, мы рѣшили передать черезъ Гасфорда стихи вдовствующей императрицѣ. Стихи эти, насколько помню, начинались такъ:

«Какъ гаснетъ въ небесахъ зарница,  
Угасъ Супругъ великій Твой»...

На очень почтительную мою просьбу посодѣйствовать мнѣ въ этомъ, Гасфордъ наотрѣзъ отказалъ, добавивъ:

«За бывшихъ враговъ правительства никогда я хлопотать не буду; если же въ Петербургѣ сами вспомнятъ, то я противодѣйствовать не буду».

Теперь умѣстно будетъ сказать, какимъ образомъ стихи эти всетаки достигли своего назначенія. Цѣль моя была напомнить о Достоевскомъ, возбудить свыше интересъ къ нему. Писалъ я неоднократно отцу, всевозможнымъ вліятельнымъ роднымъ, просилъ найти возможность передать стихи вдовствующей государынѣ, и, наконецъ, хлопоты мои уфнчались успѣхомъ: стихи взялся передать его высочество принцъ П. Г. Ольденбургскій. Принцъ, какъ извѣстно, былъ большой любитель музыки и плохой композиторъ; дружилъ онъ въ то время съ извѣстнымъ піанистомъ Адольфомъ Гензельтомъ, который исправлялъ его сочиненія. Гензельтъ же былъ долготѣтній преподаватель музыки всей нашей семьѣ и другъ дома. И вотъ къ нему-то и обратились мои родные. Онъ съ готовностью исполнилъ нашу просьбу.



Стихи получены были императрицей,—это мнѣ достоверно извѣстно, такъ какъ мнѣ впослѣдствіи подтвердилъ это Сахтынский, управляющій дѣлами III-го отдѣленія. Было еще другое стихотвореніе Достоевскаго «На вступленіе на престолъ Александра II»— оно было мною передано лично по пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ Эдуарду Ивановичу Тотлебену.

Теперь попутно я не могу воздержаться, чтобы не сказать нѣсколько словъ относительно тѣхъ нападокъ на Достоевскаго, которыя были вызваны какъ этими стихами, такъ и статьей его «О Россіи».

Въ Энциклопедическомъ словарѣ Эфрона, напри- мѣръ, я только что попалъ на слѣдующія прискорб- ные строки, томъ XI, стр. 74, II-я колонка:

«Какъ это видно изъ *приниженнаго* тона его сибирскихъ писемъ и изъ тѣхъ *средствъ*, которыми онъ надѣется снискать себѣ полное помилованіе (патріотическія стихотворенія и проч.)...»

Но вѣдь Достоевскій по природѣ, по самому существу своему и былъ всегда патріотомъ въ самомъ глубокомъ значеніи этого слова. На Александра II-го онъ, какъ и всѣ тогда, взиралъ съ душевнымъ умиленіемъ,—въ немъ онъ видѣлъ возрожденіе новой жизни въ Россіи; а что же *приниженнаго* было въ привѣтствіи воцарившемуся государю, бывшему въ то время упованіемъ всѣхъ любившихъ свою отчизну? Долженъ упомянуть, что и къ императору Николаю Достоевскій никакого злобнаго чувства не имѣлъ, и даже несмотря на всю, какъ находили многіе, маловажность его политическаго проступка,— онъ лично вину свою признавалъ и ссылку считалъ, какъ ни покажется страннымъ, «дѣломъ справедливымъ». Стало быть, въ его обращеніи къ царю о помилованіи не заключалось даже съ принципіальной точки зрѣнія ни малѣйшаго насилія надъ своими

убѣжденіями, ради личной выгоды. Не говорю уже о жестокости вышеупомянутой критики о Достоевскомъ съ точки зрѣнія просто человѣческой.

Достоевскій въ то время изнемогалъ отъ болѣзни, минутами онъ страшился за умъ и память свою. Литературная дѣятельность для него было самое завѣтное въ жизни. Благодаря его пребыванію въ ссылкѣ, произведенія его не могли печататься; въ отчаяніи онъ даже предлагалъ печатать свои сочиненія подъ моимъ именемъ. Конечно, это слишкомъ лестное для меня предложеніе я отклонилъ. Кромѣ того, литература, кромѣ славы, была его единственнымъ заработкомъ. Въ то время онъ рвался къ личной жизни, его ожидалъ бракъ, въ которомъ ему грезилось «безконечное счастье» (См. письмо Д. въ приложеніи). А вѣчная вопіющая нужда? Годами онъ былъ лишень самага необходимаго.

Безпредѣльная матеріальная зависимость отъ людей, вѣчное исканіе средствъ развѣ было не болѣе «*приниженнымъ*» для человѣка такого умственного и душевнаго склада, какъ Достоевскій? И кто знаетъ, не прибѣгни Достоевскій къ *средству*, за которое такъ рѣзко осуждаютъ его строгіе критики, не погибъ ли бы въ дебряхъ Сибири безвременно одинъ изъ величайшихъ русскихъ писателей—гордость Россіи?!

Не моему слабому перу, конечно, идти на защиту незабвеннаго Достоевскаго, но, случайно познакомившись съ вышеуказанной статьей, я былъ глубоко огорченъ за О. М. и не могъ не сказать нѣсколько словъ по этому поводу.

Теперь я возвращаюсь къ моему первоначальному разсказу о пребываніи генераль-губернатора въ Семипалатинскѣ. Обѣдъ сошелъ благополучно; на другой день былъ смотръ войскамъ; генераль былъ въ благодушномъ настроеніи, хотя артиллерія и сплеховала,

ядра плохо попадали, рикошетировали и зарывались въ песокъ. Это объяснили ветхостью орудій и отсырѣлостью пороха.

Давъ все же легонькую распеканцію кому слѣдовало, Гасфордъ тутъ же объявилъ къ величайшей общей радости, что похода не будетъ. Были, вѣроятно, и разочарованные, видѣвшіе съ наступленіемъ похода новую поживу на счетъ бѣдныхъ солдатиковъ. Кажется, въ этотъ именно день Достоевскій былъ произведенъ въ унтеръ-офицеры. Въ тотъ же день Гасфордъ помчался со своей многочисленной свитой въ Омскъ,—свою резиденцію.

Всѣ вздохнули: гроза миновала.

Семипалатинскъ принялъ свой обыденный сонный видъ.

### **Марина О.—ученица Достоевскаго.—Поѣздка въ Змѣиногорскъ.—Колыванское озеро.—Типъ сибирскаго чиновника.**

Съ отѣздомъ генераль-губернатора наше семипалатинское сонное царство какъ-то еще больше оцѣпенѣло въ своей безжизненности. Такъ какъ солдатикамъ послѣ усиленныхъ ученій данъ былъ отдыхъ, то у *Θ. М.* было больше досуга. Засѣли мы опять въ нашемъ «Казаковомъ Саду», изо дня въ день все то же и то же. Вѣсти изъ Кузнецка приходили неутѣшительныя; теперь *Θ. М.* бросилъ ужъ и къ гадалкамъ ходить, хандрить, скучать, какъ-то не работало ему, не зналъ, какъ убить время. Тутъ онъ вспомнилъ о Маринѣ О., дочери ссыльнаго поляка, о которой я упоминалъ выше. Достоевскій въ бытность Исаевыхъ въ Семипалатинскѣ, какъ, вѣроятно, помнить читатель, по просьбѣ Маріи Дмитриевны, принялъ участіе въ дѣвочкѣ, занимался съ ней. Онъ

отправился теперь къ О. и, послѣ нѣкоторыхъ пререканій, дѣвушку стали отпускать въ «Казаковъ Садъ» учиться. Ей исполнилось уже 17 лѣтъ, она подросла, расцвѣла, похорошѣла и стала чрезвычайно развязна. Она очень оживляла нашъ домъ, бѣгала, усиленно кокетничала и задорно заигрывала со своимъ учителемъ.

Я въ это время былъ поглощенъ одной своей романтической исторіей, искалъ развлеченія въ путешествіяхъ и въ теченіе двухъ мѣсяцевъ отмахалъ 2000 верстъ. Побывалъ въ горахъ Алтая, въ Усть-Каменогорскѣ и Бухтырмѣ, на рѣкѣ Иртышѣ, въ степяхъ, въ Локтевскомъ и Змѣиногорскомъ заводахъ.

Ө. М. сидѣлъ много одинъ, хандрилъ, училъ Марину, немного пописывалъ и велъ горячую переписку съ Маріей Дмитріевной; письма къ ней—подчасъ были цѣлыя тетради.

При отъѣздѣ моемъ, видя, какъ Ө. М. ретиво принялся за уроки съ Мариной, явно благоволившей къ своему учителю, я, признаться, обрадовался, думалъ: хандра пройдетъ, завяжется новое чувство и отвлечетъ его, можетъ быть, отъ роковой страсти къ М. Д. Исаевой. Но дѣло сложилось иначе.

Вернувшись изъ моихъ путешествій, я узналъ цѣлую трагедію.

Марина, при первой моей встрѣчѣ съ ней послѣ моего возвращенія, своимъ видомъ поразила меня: мрачною, похудѣвшею, какою-то опустившеюся показалась она мнѣ. Я обратилъ вниманіе Ө. М.,—онъ подтвердилъ, что и самъ видитъ, что Марина не прежняя, но сколько ни добивается узнать отъ нея причину, добиться не можетъ. Принялись мы допрашивать ее оба, и вотъ что повѣдала она намъ.

Сынъ городского головы, носившій въ городѣ кличку «Ваньки-Саврасаго», 18-ти-лѣтній юноша, давно

заглядывался на красивую Марину; при помощи ключницы, прельщавшей ее богатством, Марина сдалась; негодяй, позабавившись, скоро ее бросилъ. Но это еще не все, что угнетало ее. Свидѣтелемъ этихъ похожденій былъ кучеръ юнаго савраса, старый, грязный киргизъ, какъ оказывается, забравшій по приказанію своего хозяина Марину въ условленномъ мѣстѣ для того, чтобы доставить ее въ назначенное для rendez-vous мѣсто. И вотъ, въ одну изъ такихъ поѣздокъ, этотъ гнусный человекъ пригрозилъ ей, что если она не отдастся ему,—онъ объ ея похожденіяхъ донесетъ отцу и мачихѣ. Запуганная и безхарактерная Марина поддалась. Этотъ негодяй всячески эксплуатировалъ ее, преслѣдовалъ по пятамъ; она ненавидѣла его, боялась и молила, признавшись намъ во всемъ, помочь избавиться отъ этого злодѣя.

Дѣло было вопіющее. Пришлось мнѣ воспользоваться моею властью,—я выселилъ киргиза изъ города.

Черезъ годъ послѣ этого отецъ Марины выдалъ ее насильно замужъ за стараго, необразованнаго хорунжаго Семипалатинскаго казачьяго полка. Марина его ненавидѣла и кокетничала со всѣми попрежнему. Старикъ, въ свою очередь, изводилъ ее своею ревностью. Вотъ какую оригинальную предосторожность принималъ онъ для спасенія своей чести. Нерѣдко, уходя изъ дому, запиралъ Марину, а чтобы она не могла выбраться изъ дома черезъ окно, онъ ставилъ ее на колѣни спиною къ комоду, клалъ косы ея въ ящикъ, комодъ задвигалъ, запиралъ на замокъ, а ключъ уносилъ съ собой. Но нашлись друзья помудрѣе его, подобрали двойные ключи и претолучно, по желанію плѣнницы, освобождали ее въ отсутствіе мужа.

Впослѣдствіи, когда Достоевскій былъ женатъ, Марина не разъ служила причиной ревности и раздора между Маріей Дмитріевной и Ѳедоромъ Михайловичемъ, преслѣдуя его своимъ кокетствомъ, что страшно волновало уже больную тогда его жену. (Смотри письмо Д. въ приложеніи).

Послѣ долгихъ просьбъ мнѣ удалось наконецъ, при посредствѣ военнаго губернатора, получить согласіе батальоннаго командира на поѣздку Достоевскаго со мною въ Змѣиногорскъ, куда насъ приглашалъ генераль Гернгроссъ. Это было недалеко отъ Кузнецка, и Ѳ. М. мечталъ о возможности повидать Марію Дмитріевну, да и побывать въ кругу образованныхъ людей въ Змѣиногорскѣ не мало прельщало насъ.

По дорогѣ въ Локтевскомъ заводѣ прихватили съ собою Демчинскаго, адъютанта военнаго губернатора. Такъ какъ съ нимъ былъ близко знакомъ Ѳ. М. и нерѣдко пользовался его мелкими услугами и въ своихъ письмахъ ко мнѣ упоминаетъ его имя, скажу нѣсколько словъ о немъ. Кромѣ двухъ артиллерійскихъ офицеровъ, это былъ единственный молодой человекъ, съ которымъ мы вели въ Семипалатинскѣ знакомство. Изъ юнкеровъ-неучей онъ былъ произведенъ въ офицеры и, благодаря протекціи, скоро надѣлъ аксельбанты адъютанта. Это былъ красавецъ лѣтъ 25, самоувѣренный фатъ, веселый, обладавшій большимъ юморомъ; онъ считался неотразимымъ Донъ-Жуаномъ и былъ нахаломъ съ женщинами и грозой семипалатинскихъ мужей. Видя, что начальникъ его и прочія власти принимаютъ такъ привѣтливо Достоевскаго, желая подѣхать и ко мнѣ за протекціей, онъ проявлялъ большое вниманіе къ Ѳ. М. Искренняго же чувства у него не было: онъ самъ слишкомъ гнался за виѣшнимъ блескомъ, и сѣрая шинель и бѣдность

Ө. М. были, конечно, Демчинскому далеко не по душѣ. Онъ недолюбливалъ вообще всѣхъ политическихъ въ Семипалатинскѣ. Впослѣдствіи онъ поступилъ въ жандармы или, какъ ихъ тогда называли, «синіе архангелы» и, имѣя порученіе сопровождать партію ссыльныхъ политическихъ въ Сибирь, проявлялъ большую грубость къ нимъ и безчеловѣчность. Достоевскій не могъ съ нимъ не знаться, хотя бы потому, что въ виду служебнаго положенія Демчинскаго—адъютантомъ, Достоевскому то и дѣло приходилось обращаться къ нему, и дѣйствительно тотъ не разъ былъ ему полезенъ. Проведя день на Локтевскомъ заводѣ, мы двинулись дальше.

Подъ вечеръ мы въ тройкѣ, втроемъ, помчались въ Змѣиногорскъ по гладкой, какъ паркетъ, дорогѣ; ни ямочки, ни камушка, только пыль густымъ, чернымъ слоємъ покрывала лица наши и вещи. Чудную и необыкновенную картину увидѣли мы во время этой нашей поѣздки. Не успѣли мы отъѣхать верстъ пять, какъ вдали показалось зарево, мѣстами красныя облачка на небѣ, какъ на пожарѣ, а вдали на горизонтѣ огненные змѣйки и вспышки пламени все болѣе и болѣе охватывали пространство. Это былъ дѣйствительно пожаръ, но, какъ здѣсь говорили, «напольный», умышленно производимый крестьянами два раза въ годъ: по сходѣ снѣга, дабы уничтожить осеннюю траву, и въ началѣ августа, дабы избавиться отъ лѣтней засохшей травы. Къ осени такимъ образомъ получался для скота новый, молодой, сочный кормъ, «атава», какъ называли здѣсь этотъ способъ освѣженія травы. Пожаръ, представшій нашимъ глазамъ, представлялъ грандіозное зрѣлище. Онъ расплывался все шире и шире. Казалось, передъ нами огненное море на нѣсколько верстъ, которое плыло и вѣтромъ гнало прямо на насъ. Лошади наострили

уши, фыркали, какъ бы чуя бѣду, и, наконецъ, остановились, какъ вкопаныя, ни съ мѣста... Ямщикъ пояснилъ намъ, что опасности собственно никакой нѣтъ, такъ какъ по обѣимъ сторонамъ дороги, саженъ на двадцать пять, трава вся скошена и выжжена крестьянами, и огонь перебросится на другую сторону дороги безъ вреда.

Картина была величественная, волшебная; темная ночь, темно-синее небо, усѣянное розовыми тучками, мириады звѣздъ и вдали море бушующаго огня, цѣлые огненные снопы искръ и извивающіяся огненные змѣйки, на темномъ фонѣ неба вспыхивавшія, какъ огромный фейерверкъ. Все это движется, ползетъ вверхъ, охватываетъ холмы, перескакиваетъ съ одного мѣста на другое, потухаетъ, меркнетъ и разомъ, могучимъ огненнымъ потокомъ, вновь сливается въ огненное море. Дивная картина,—увидишь разъ, никогда не забудешь! Непріятенъ только удушливый дымъ и жара отъ пламени, а потому, когда рванувшаяся наконецъ опять впередъ тройка вывезла насъ изъ сферы огня и дыма, мы облегченно вздохнули. Подъ утро мы достигли станокъ (станція) «Гилева» и, подкрѣпившись чаемъ, поскакали далѣе въ Зміевъ. Отъ Гилева до Зміева верстъ 45,—двѣ перемѣны лошадей. Здѣсь уже вѣдомство Алтайскаго округа—киргизовъ не видать, лишь богатое крестьянство.

Мѣстность рѣзко измѣнилась; пошли высокіе холмы саженъ въ 300—500 вышины, по-сибирски ихъ звали «сопки». Мы ѣхали рысцою, подымаясь съ горки на горку, любуясь чудными видами. Вдали синѣли горы дикаго Алтая, темныя, черныя, безснѣжныя вершины. Весною эти сопки, покрытыя сплошь сибирскою пахучею желтою азалиею и сибирскимъ рододендромъ,—очаровательны. Лѣсу мало,—уже и въ мое время лѣса были частью вырублены.



Мы приближались къ извѣстной своей красотою и живописностью «Корбулиховской долинкѣ», въ которой лежитъ Зміевъ или Змѣиногорскій рудникъ.

Дорога, которою мы ѣхали, служила только къ сообщенію двухъ заводовъ, Локтевскаго и Змѣиногорскаго, да такимъ случайнымъ, какъ мы, путешественникамъ, пробиравшимся на рѣку Иртышъ или въ Киргизскія степи.

Спускаясь въ долину, мы скоро, за первымъ же поворотомъ, увидѣли Зміевъ; то тамъ, то сямъ расположены домишки поселянъ, работниковъ завода, между садами и рощами дома отставныхъ горныхъ чиновниковъ, мѣщанъ и купцовъ и наконецъ самъ заводъ и небольшой деревянный городокъ, разбросанный по холмамъ. Налѣво, какъ стѣна, сплошныя высокія горы скрывали даль; направо вся живописная Корбулиховская долина, вдоль которой извивалась голубою лентою рѣчка того же названія, и вдоль нея рѣдкія усадьбы горныхъ крестьянъ. Вся дорога окаймлена кустами черемухи и дикаго шиповника.

Зміевскій рудникъ самый древній во всей Сибири и когда-то былъ самый богатый. Открытъ онъ Никитою Демидовымъ. Преданіе говоритъ, что богатство серебряной руды было въ первое время такъ велико, что мальчишки поденно за извѣстную плату собирали блестяшки чистаго серебра въ свои рукавицы и по числу наполненныхъ рукавицъ получали деньги.

Сибирь любитъ легенды. Утверждаютъ, что Змѣиногорскій рудникъ получилъ свое названіе отъ множества змѣй, которыхъ убивали тысячами ежедневно, и что цѣлыя деревни выгонялись на эту охоту. Гады достигали огромныхъ размѣровъ; мнѣ показывали пещеру въ «Сторожевой» сопкѣ, изъ которой, какъ гласитъ преданіе, вылѣзъ будто бы змѣй въ аршинъ толщиною и нѣсколько сажень длиною. Эту фабулу,

впрочемъ, слышалъ я часто и въ степяхъ и въ горахъ Сибири.

Въ Зміевѣ въ мое время считалось 13 тысячъ жителей, много каменныхъ зданій, и былъ онъ несравненно благоустроеннѣе нашего Семипалатинска, главнаго города области. Шахты находились вблизи самага сада управляющаго рудникомъ И. А. Полетики и шли на глубину 90 сажень. Во время нашего пребыванія онѣ были залиты водою, но я могъ всетаки спуститься на глубину 40 сажень по великолѣпной, вырубленной въ скалѣ лѣстницѣ, устроенной для Императора Александра I, котораго когда-то ожидали въ Западную Сибирь и на Алтай.

Мы прогостили въ Зміевѣ пять дней; согласно обычаю, намъ отвели квартиру у богатаго купца. Радужно встрѣтило насъ горное начальство; не знали ужъ, какъ насъ и развлечь—и обѣды, и пикники, а вечеромъ даже и танцы. У полковника Полетики, управляющаго заводомъ, былъ хоръ музыкантовъ, организованный изъ служащихъ завода. Всѣ были такъ непринужденно веселы, просты и любезны, что и Достоевскій повеселѣлъ, хотя М. Д. Исаева и на этотъ разъ не пріѣхала,—мужъ былъ очень плохъ въ то время, но, впрочемъ, и письма даже Достоевскому она не прислала въ Зміевъ. А Ѳ. М. былъ на этотъ разъ франтъ, хоть куда. Впервые онъ снялъ свою солдатскую шинель и облачился въ сюртукъ, сшитый моимъ Адамомъ, сѣрыя мои брюки, жилетъ и высокій стоячій накрахмаленный воротничокъ. Углы воротничка доходили до ушей, какъ носили въ то время. Крахмаленная манишка и черный атласный стоячій галстукъ дополняли его туалетъ.

Общество «горныхъ», какъ называли ихъ, рѣзко отличалось тогда отъ всего сибирскаго общества. Это были все люди науки, образованные и культурные.

Большая часть изъ нихъ, кончивъ Горный корпусъ, нынѣ институтъ, въ Петербургѣ, отправлялись доканчивать свое образованіе за границу въ знаменитую горную академію въ Фрейбергѣ, близъ Дрездена. Жены «горныхъ» были или изъ Петербурга, или иностранки. Получая громадныя деньги, они жили чрезвычайно широко. Наѣздная театральная труппа изъ Барнаула лѣтомъ перебиралась въ Зміевъ, такъ какъ сюда на дачи переселялось лѣтомъ обыкновенно все главное начальство на 3—4 мѣсяца. Дамы щеголяли туалетами изъ Парижа, повара, экипажи, шампанское лилось рѣкою,—просто и не вѣрилось, что находишься въ дебряхъ Сибири. Въ особенности выдѣлялись своей любезностью и красотой двѣ дамы: умница Е. І. Гернгроссъ и красавица Ольга Абаза; впоследствии объ онѣ оказали услуги и содѣйствіе Достоевскому по его дѣламъ, но объ этомъ послѣ.

Говоря о Змѣиногорскѣ, я не могу умолчать о знаменитомъ Кольванскомъ озерѣ, находившемся въ 18 верстахъ отъ рудника. Всѣ посѣщавшіе Змѣиногорскъ считали долгомъ побывать на его берегахъ. Знаменитый баронъ А. Гумбольдтъ при видѣ этой чудной картины природы былъ очарованъ и говорилъ, что, извѣздивъ весь свѣтъ, не видѣлъ болѣе красиваго мѣста.

Не могъ я устоять, чтобы не побывать тамъ. Ө-ру М-чу нездоровилось; онъ былъ опять не въ духѣ, и остался дома.

Мы же большой компаніей двинулись въ путь, но, какъ я уже говорилъ, у горныхъ былъ во всемъ широкой размахъ. Забрали запасы всякой ѣды и питія, повара, палатки, музыку,—однимъ словомъ раздолье полное. Чудный солнечный день способство-

валь общему приподнятому настроенію, и мужа и жены всѣ были веселы и беззаботны.

Колыванское озеро небольшое, очень узкое въ ширину, а въ длину извивается среди высокихъ скалъ и ущелій на нѣсколько верстѣ. День былъ чудный, солнечный, тихій; поверхность озера была неподвижна и, какъ зеркало, отражала голубую синеву безоблачнаго неба.

Мы расположились на плоской сторонѣ озера, близъ высокой, сажень въ 20, одинокой скалы, окруженной зеленымъ ковромъ пушистой травы. На противоположномъ берегу тянулись очень высокія скалы, по которымъ было разбросано все, что воображенію угодно представить: замки, башни, зубчатая стѣна крѣпости, величественныя статуи,— словомъ, какое-то фантастическое зрѣлище.

Одинокая скала, у подножья которой мы расположились лагеремъ, заканчивалась башней съ огромнымъ природнымъ окномъ посерединѣ. Забрался я на самую вершину съ величайшимъ трудомъ,— пришлось карабкаться вверхъ, держась за веревку, спущенную сверху; ко мнѣ присоединилась еще одна неустрашимая дама, нарядившаяся для удобства восхожденія въ особую обувь съ крупными гвоздями на подошвѣ.

Много горныхъ озеръ видѣлъ я на своемъ вѣку, но того очарованія, которое охватило меня здѣсь, я и теперь забыть не могу. Просто какъ замороженные смотрѣли мы, не отрывая глазъ, силъ не было уйти. Я очень пожалѣлъ, что съ нами не было Достоевскаго; полагаю, что такая дивная красота природы пробудила бы влеченіе къ ней у самаго равнодушнаго. А что меня всегда поражало въ Достоевскомъ,— это его полнѣйшее въ то время безразличіе къ карти-

намъ природы—онѣ не трогали, не волновали его. Онъ весь былъ поглощенъ изученіемъ человѣка, со всеми его достоинствами, слабостями и страстями. Все остальное было для него второстепеннымъ. Онъ съ искусствомъ великаго анатома отмѣчалъ малѣйшіе изгибы души человѣческой...

.....

Освѣженный своими путешествіями нравственно и физически, вернувшись въ Семипалатинскъ, я нашелъ его еще непригляднѣе, а вѣчныя дразги и пререканія со всякимъ тогдашнимъ сибирскимъ чиновничьимъ сбродомъ стали для меня рѣшительно нестерпимы. Съ одной стороны, меня боялись, какъ прокурора, а также имѣющаго связи въ Петербургѣ, а съ другой, ненавидѣли, старались всеми способами насолить мнѣ и подвести меня подъ судъ, разчитывая на мою молодость и неопытность.

Главный мой врагъ былъ нѣкто Малосапожковъ, завѣдывавшій дѣлами губернскаго правленія. Въ вѣдѣніи своемъ онъ имѣлъ дѣла полиціи, тюремъ и рекрутскаго набора,—статьи все такія, у которыхъ руки погрѣтъ могъ хорошо. И вотъ съ нимъ-то и шли мои безпрерывныя пререканія за то, что завѣдомо мошенническихъ его журналовъ я не пропускалъ. Малосапожковъ былъ типъ сибирскаго чиновника-ярыги старыхъ временъ, образецъ судейскаго крючка. Боже! что это была за отвратительная и отталкивающая личность, даже и по наружности. Говорили, будто онъ получилъ университетское образованіе, но за какое-то темное дѣло былъ переведенъ на службу въ Сибирь. Высокій, высохшій, какъ скелетъ, сутуловатый, онъ напоминалъ какую-то вѣшалку. На безобразномъ туловищѣ была посажена крошечная голова, все лицо усѣяно угрями, багрово-красное, криво-

чковатый носъ въ видѣ клюва, узкіе сѣрые глаза блуждали, какъ зловѣщіе огоньки. На этомъ страшномъ туловищѣ болтался, какъ на вѣшалкѣ, страшно засаленный единственный его виць-мундиръ, пропитанный саломъ, чернильными пятнами и отвратительнымъ табакомъ. Покрой этого замѣчательнаго одѣянія былъ времянь Александра I, воротникъ до ушей, талья на поль-спинѣ, фалды и короткіе рукава, изъ которыхъ торчали грязная ситцевая рубаха и костлявыя руки съ крючковаатыми пальцами и вѣчно черными ногтями, Голова всегда нечесаная, не то метла, не то щетина. Ходилъ онъ на службу въ рыжихъ нечищенныхъ сапогахъ, брюки въ голенищахъ, и только въ присутствіи губернатора выпускалъ брюки изъ голенищъ. Скупъ былъ какъ Гарпагонъ, хотя лепту свою бралъ съ живого и съ мертваго. Во время рекрутскаго набора, собирая деньги, елейно складывая руки и склоняя голову на правую сторону, пѣвучимъ сладкимъ голосомъ говорилъ татарамъ: «Прибавьте вѣрному слугѣ царя вашего».

Во мнѣ его особенно раздражала моя молодость; мое званіе титулярнаго совѣтника въ такіе юные годы рѣшительно оскорбляло его. «Такой молокососъ и уже позволяетъ себѣ меня контролировать», жаловался онъ всѣмъ на меня.

Достоевскій прозвалъ его «жареный скорпіонъ». Ненависть Малосапожкова ко мнѣ доходила подчасъ до анекдотичности; не могу, ради смѣха, какъ образецъ, не рассказать хоть одинъ изъ его доносовъ.

Какъ-то разъ приносятъ мнѣ для утвержденія журналы Областного правленія. Просмотрѣвъ нѣсколько изъ нихъ, я читаю вдругъ: «Постановлено донести генераль-губернатору и министру юстиціи, что исправляющій должность прокурора (т. е. я)

вопреки закону носить усы. А такъ какъ первая обязанность прокурора блюсти законъ, то постановляется: сбрить ему усы, сдѣлать выговоръ и донести выше». (Чуть ли не посадить меня на барабанъ, такъ какъ былъ когда-то такой циркуляръ на основаніи Высочайшаго повелѣнія Николая I).

Военный губернаторъ, конечно, хода этому глупѣйшему доносу не далъ, а, зная крючкотвора, пригрозилъ ему и велѣлъ сидѣть смирно, послѣ чего тотъ сталъ лебезить передо мной, продолжая втихомолку, гдѣ могъ, вредить мнѣ и сплетничать. Рядъ такихъ мелочныхъ придирокъ, грязь, взяточничество, мое полное безсиліе принести дѣлу существенную пользу привели меня къ размышленію, не пора ли мнѣ перемѣнить службу; подумывалъ я перебраться къ Н. Н. Муравьеву, впослѣдствіи графу Амурскому, гдѣ находились уже мои товарищи по Лицею: Гурьевъ, Беклемишевъ, Бютцовъ, впослѣдствіи посланникъ въ Швецію, и Ѳ. Анненковъ. Хотя генераль-губернаторъ Гасфордъ и лично и письменно приглашалъ меня къ себѣ въ Омскъ чиновникомъ особыхъ порученій,—мнѣ мало это улыбалось.

Строили мы планы съ Ѳ. М. о будущтмъ — въ томъ, что его ждетъ скорое помилованіе мы не сомнѣвались, такъ утѣшительны были послѣднія полученныя мною петербургскія извѣстія. Ужасно мнѣ было жаль покинуть Ѳ. М., къ которому я такъ привязался, а тутъ еще и мой романъ, занимавшій большое мѣсто въ моемъ сердцѣ въ то время, крѣпко приковывалъ меня къ этимъ мѣстамъ. Пока что, надумали мы съ Ѳ. М., что я устроюсь на службу въ Барнаулъ, туда же мечталъ по своему освобожденію перебраться и Достоевскій,—«буду поближе къ мѣсту страданій Маріи Дмитріевны, а вы къ вашей чадолюбивой Х.», шуточно и весело мечталъ Ѳ. М.

**Пріятель Достоевскаго, Валихановъ.—Поѣздка на слѣдствіе.—Охоты.—Возвращеніе въ Семипалатинскъ.**

Версты за три отъ города по дорогѣ въ Омскъ лежала заимка Попова на нагорной сторонѣ Иртыша, среди богатой рощи. Здѣсь были большая мельница, кожевенный заводъ и разныя хозяйственныя постройки.

Большого выбора въ нашихъ прогулкахъ съ Ѳ. М. не было, и вотъ особенно часто ходили мы на эту заимку. Какъ разъ тамъ только что были найдены остатки какихъ-то кирпичныхъ развалинъ и разныя вещи буддійскаго культа. Надо сказать, что на всемъ огромномъ пространствѣ отъ Китая до горъ Урала обитали нѣкогда монголы, завоевавшіе наши Киргизскія степи при Чингисъ-ханѣ. Потомки этихъ монголовъ, калмыки, совсѣмъ недавно были вытѣснены изъ нашихъ степей пришлыми сюда киргизами въ 1715 году, ихъ ханомъ Аблаемъ, родоначальникомъ всѣхъ ихъ ханскихъ родовъ. Онъ ихъ герой, и они и въ мое время, нападая на непріятеля, кричали: «Аблай! Аблай!» Въ степи и вдоль Иртыша сохранилось много развалинъ монгольской эпохи, вездѣ видны были слѣды большой культуры, заброшенные арыки, плотины и валы. Къ такимъ остаткамъ прошлаго монголовъ принадлежитъ и вся мѣстность близъ Семипалатинска, самый же городъ Семипалатинскъ былъ основанъ при Петрѣ Великомъ. А крѣпость, какъ оплотъ противъ киргизъ-кайсацкихъ ордъ и какъ защита развивавшимся серебрянымъ рудникамъ Алтая, была сооружена въ 1718 году.

Изъ немногихъ посѣщавшихъ насъ послѣднее время лицъ помню, между прочимъ, заѣхалъ проѣздомъ, чтобы повидать Достоевскаго, молодой, преми-



лый офицеръ-киргизъ, воспитанникъ Омскаго кадетскаго корпуса, внукъ послѣдняго хана Средней орды Мухамедъ Ханафія-Валихановъ (имя Валиханова упоминается въ послѣднихъ письмахъ Достоевскаго ко мнѣ).

Онъ познакомился съ  $\Theta$ . М. въ Омскѣ у Ивановыхъ и очень полюбилъ его.

Бхаль онъ съ секретнымъ порученіемъ правительства въ Ташкентъ и Коканъ, сопровождая торговый караванъ. Между прочимъ, онъ разсказалъ намъ, какъ, дабы удачнѣе исполнить правительственное порученіе и не навлечь на себя вниманія туземцевъ, чтобы скорѣе разузнать все, что ему требуется, онъ въ обоихъ городахъ женился по киргизскому обряду. Разсказалъ онъ намъ и цѣны, по которымъ можно было пріобрѣтать невѣсть. За самую знатную дѣвушку ханскаго рода платили тогда калымъ по 9 головъ всякаго скота, т. е. 9 штукъ верблюдовъ, 9 лошадей, 9 коровъ и 9 овецъ. Валихановъ имѣлъ видъ вполне воспитаннаго, умнаго и образованнаго человѣка. Мнѣ онъ очень понравился, и Достоевскій очень былъ радъ повидать его. Впослѣдствіи я встрѣчалъ его въ Петербургѣ и Парижѣ. Какъ я узналъ, вскорѣ онъ погибъ, бѣдняга, отъ чахотки—петербургскій климатъ доканалъ его.

Скоро пришлось мнѣ отправиться на слѣдствіе въ Аягузь, близъ огромнаго озера Балхаша. Въ мое время эта громадная водяная плоскость была богата рыбой, водяною дичью, фазанами и тиграми. Тутъ кочевали киргизы, скрывая скотъ въ камышахъ, зимою особенно.

Въ путь я пустился, взявъ съ собою двухъ киргизовъ; Адама я оставилъ съ  $\Theta$ . М. Снабдилъ я киргизовъ моихъ конями, и поскакали они верхомъ впередъ. Самъ же до ближайшихъ горъ Семитау, верстъ 70 отъ

города, отправился на почтовой тройкѣ. Семитау былъ извѣстенъ своими дикими баранами, — «арха-рами», какъ называютъ ихъ.

Я уже говорилъ выше, что я былъ страстный охотникъ, а потому, когда мои пріятели, у которыхъ я остановился, предложили мнѣ поохотиться, я соблазнился.

Охота эта очень трудная; все приходится лазить по горамъ, ноги скользять, срываешься то и дѣло, опять карабкаешься, что очень утомительно, но на этотъ разъ я былъ вознагражденъ за мое охотничье долготерпѣніе. Я убилъ огромнаго барана, рѣдкой величины, въ рогахъ его было 35 фунтовъ вѣсу. Эти рога, замѣчательные по величинѣ и красотѣ, въ послѣдствіи вызывали удивленіе многихъ заграничныхъ охотниковъ, которые видѣли ихъ у меня.

Не легко было иногда производить слѣдствіе въ степи, вдали отъ всякаго жилья; въ юртѣ, гдѣ приходится жить, ни стола, ни стула; сидишь, поджавши ноги на коврѣ; захочешь писать, — ложишься на животъ, пиши на кошмѣ. Спишь, конечно, также растянувшись на землѣ на кошмѣ, а такъ какъ въ степи масса змѣй, фалангъ и скорпіоновъ, а эти непрошенные гости любятъ забираться подъ теплую кошму, подушку и одѣяло, то того и гляди ужалятъ. Чтобы предохранить себя отъ укусовъ скорпіоновъ, киргизы надумали класть подъ подушку шкуру свѣже заколотога барана, — этотъ запахъ бараньей шкуры имъ непріятенъ, а мнѣ былъ особенно невыносимъ. Много у киргизовъ суевѣрныхъ повѣрій: такъ, тутъ же на слѣдствіи, я узналъ объ одномъ курьезномъ обычаѣ.

Киргизы, какъ оказывается, муки роженицъ приписываютъ шайтану (дьяволу); они увѣряютъ, что онъ задерживаетъ роды, желая измучить бѣдную

женщину и завладѣть душою новорождаемаго. Обыкновенно при первыхъ признакахъ приближающихся родовъ женщину ставятъ на ноги, — двое ее поддерживаютъ, остальные окружаютъ ее; толпа кричить, воетъ, бѣснуется, скачетъ, бьетъ въ бубны, дабы напугать и изгнать дьявола; доходя до изступленія, они нерѣдко плюютъ ей въ лицо и даютъ пощечины. По ихъ завѣреніямъ, шайтанъ особенно боится чиновниковъ, и вотъ въ мой настоящій пріѣздъ они прибѣжали умолять меня прійти помочь изгонять шайтана — «шибко, шибко боится, бачька», говорили они, — но я, конечно, это удовольствіе отъ себя отклонилъ.

Въ Аягузѣ мнѣ нужно было произвести слѣдствіе о поборахъ у киргизовъ однимъ засѣдателемъ и о его звѣрствахъ. Засѣдатели были въ то время самые подонки изъ сибирскаго чиновничества. Да и кто же изъ порядочно образованныхъ шелъ въ такую глушь, гдѣ и словомъ-то живымъ перекинуться было не съ кѣмъ, кому охота была закопать себя? да притомъ и занятіе оплачивалось нищенскимъ жалованьемъ въ 270 рублей въ годъ.

Ну и обкрадывали тогда безъ зазрѣнія совѣсти киргизовъ при сборѣ податей всѣми способами. Эти засѣдатели пользовались тогда всеобщей ненавистью.

Покончивъ со слѣдствіемъ, я принялъ приглашеніе на охоту на тигра въ камышахъ озера Балхаша. Звѣрь, очень большой, судя по слѣдамъ, былъ обойденъ въ камышахъ, гдѣ онъ скрывается днемъ. Знали тропу, по которой онъ выходилъ на охоту, и вотъ у этого мѣста полукругомъ стали стрѣлки, человекъ двадцать, а версты за полторы отъ насъ, у озера, зажгли камышъ. Вѣтеръ дулъ на насъ, звѣрь не могъ не выскочить на цѣпь охотниковъ. За ними стояли сотни двѣ киргизовъ-всадниковъ, молча; но, съ появленіемъ тигра, они начали

кричать во всю глотку, чтобы ошеломить, остановить (ради прицѣла) звѣря.

Ждали мы долго. Камышь, еще довольно свѣжій, горѣлъ долго; наконецъ тихо, медленно, величаво, гордо оглядывая насъ, вышелъ звѣрь, огромный, красивый, сильный. Вдругъ тигръ прильнулъ къ землѣ, вытянулъ переднія лапы и круто подобралъ заднія. Мы поняли, что послѣдуетъ прыжокъ въ нашу сторону и что наступилъ моментъ стрѣлять. Мы были шаговъ на сто отъ тигра; раздался залпъ,—животное сдѣлало огромный прыжокъ вверхъ на громадный близлежащій камень и тамъ издохло.

Тигръ, какъ всѣ животныя кошачьей породы, бросаясь на добычу, сперва, ложится, собирая силы и напрягая мускулы, и тогда лишь двумя-тремя громадными прыжками стремится захватить свою жертву.

Киргизскіе охотники отлично освоились съ этимъ звѣремъ, изучили его и, при множествѣ отличныхъ стрѣлковъ, сдѣлали охоту на него довольно безопасной. Шкуру этого великолѣпнаго тигра я купилъ за 10 рублей и отослалъ отцу.

Подвигаясь далѣе, я имѣлъ возможность полюбоваться очаровательными горами Алтая. Какъ чудно хороши и величественны дикія горы юго-западнаго Алтая, съ дѣвственными лѣсами, снѣжными вершинами, несущимися водопадами. Особенно славилась красотою Риддерская долина и рудники того же имени.

Вся мѣстность эта была тогда дикая, мало обитаемая; на большомъ пространствѣ другъ отъ друга разбросаны были русскія деревни, богатые, не знавшія, куда дѣвать свой громадный избытокъ. Только китайцы и покупали у нихъ весенніе, мягкіе рога марала (громадный сибирскій олень); за нихъ они платили до 150 рублей за пару и на нихъ былъ большой

спрось. Въ Китаѣ и по сіе время желе изъ стружекъ оленьяго рога считается лучшимъ средствомъ для поддержанія силъ и энергіи.

Требованіе на этотъ продуктъ развило искусственное оленеводство, которое давало прекрасный доходъ. Въ мое время въ этихъ горахъ Алтая, на самой границѣ, въ непроходимыхъ дебряхъ лѣсовъ и горъ, завѣдомо всему начальству, существовали цѣлыя поселенія бѣглыхъ солдатъ, ссыльныхъ, не знавшихъ надъ собою никакого начальства, не платившихъ никакихъ податей. Нѣкоторые горные инженеры пробирались къ нимъ и рассказывали, что были поражены обиліемъ всего въ ихъ хозяйствѣ. Они ни въ чемъ не терпѣли недостатка, всего было не только вдоволь, но даже дѣвать было некуда—всего, кромѣ денегъ, такъ какъ не было сбыта.

Сбывали они на мѣстѣ, кромѣ оленьихъ роговъ, также и разныя цѣнныя шкуры, начиная съ соболя. И что за рѣдкіе экземпляры пушнаго міра попадались тамъ. Мнѣ удалось, напримѣръ, приобрѣсти совершенно чернаго волка, бѣлаго, какъ снѣгъ, соболя и зимнюю шкуру тигра съ остью до 1½ вершка длины. Въ 1857 году я имѣлъ удовольствіе поднести эти рѣдкости въ подарокъ извѣстному ученому, барону А. Гумбольдту.

Изъ Аягуза я двинулся въ Усть-Каменогорскъ на р. Иртышѣ, расположенный на 140 верстъ южнѣ Семипалатинска. Тянуло меня махнуть еще южнѣ въ городъ Бухтарму, на самую границу Китая, но время было возвращаться на свое пепелище, въ опостылѣвшій Семипалатинскъ.

**День тезоименитства императора Александра II  
въ Семипалатинскѣ.—«Dura Iex sed Iex».—Си-  
бирскія тюрьмы.—Человѣкъ-звѣрь.**

Въ 1855 году 30-го августа, въ Семипалатинскѣ впервые праздновали тезоименитство новаго царя Александра II. Вѣсти о немъ изъ Россіи доходили сюда восторженныя. Всѣ хвалили его за гуманность, доброту; особенно радостно отмѣчали, что одного изъ своихъ сыновей, великаго князя Владиміра, будто бы государь зачислилъ въ Правительствующій Сенатъ; на этомъ въ то время строили свои надежды. «Значить», рассуждали они: «займутся теперь не только парадами, но и судами». Наболѣвшее было въ то время мѣсто въ Россіи—суды.

Наше мѣстное начальство захотѣло особенно торжественно на этотъ разъ отпраздновать день Александра Невскаго.

Назначенъ былъ парадъ войскамъ, всѣмъ служащимъ приказано было явиться на молебствіе. За отсутствіемъ большого крытаго помѣщенія въ городѣ, расставили столы для параднаго обѣда въ палаткахъ, раскинутыхъ въ единственномъ скверѣ города—въ Казацкой Слободѣ близъ нашего жилища «Казаковъ Садъ». Бѣднаго Достоевскаго въ этотъ день совершенно затормошили. Для забавы и развлеченія народа, киргизы устроили байгу, скачки, травлю волковъ беркутами, а горожане свое особое сибирское представленіе на берегу Иртыша—«кулачный бой».

Огромная смѣшанная толпа русскихъ и татаръ въ разноцвѣтныхъ парадныхъ одеждахъ, кто верхомъ, а кто пѣшей, составили два отряда, нападавшихъ другъ на друга, безъ оружія и нагаекъ,—въ дѣло пускались попросту здоровые кулаки. Всадники наскокомъ прорывали пѣшее каре, захватывали плѣн-

ныхъ и тутъ же, при общемъ громовомъ хохотѣ толпы, бросали схваченнаго плѣнника въ рѣку Иртышъ, откуда тотъ выкарабкивался на берегъ, какъ умѣлъ. Весь крутой берегъ рѣки былъ усѣянъ тысячной оживленной толпой въ разноцвѣтныхъ одѣянiяхъ; очень эффектно выдѣлялись наряды татарскихъ и киргизскихъ женщинъ. Все двигалось, смѣялось, шумѣло, гулъ стоялъ отъ человѣческихъ голосовъ. Многіе угощались, щелкали орѣхи, ѣли урюкъ, кишмишъ. Настроенiе было очень приподнятое у всѣхъ. Мы съ Ѳ. М. остановились посмотрѣть на травлю волковъ орлами-беркутами, которую мы увидѣли впервые. Съ орломъ-беркутомъ охотятся только на крупнаго звѣря, какъ-то: на волка, лисицу, корсака и особенно на сайгу, родъ большой газели, которыми тогда кишѣли степи. Изъ птицъ они берутъ только драхву. Стоимость беркута была отъ 150—300 рублей. Охота эта, весьма любопытная для меня, какъ для охотника, не очень-то увлекала равнодушнаго къ этому времяпрепровожденiю Ѳ. М. Чтобы убить время, мы охотно приняли приглашенiе нашихъ друзей-киргизовъ Тенибая и Мендыбая заѣхать къ нимъ. Тутъ насъ угостили вкуснымъ сладкимъ «iэгерчикомъ»—тертый творогъ съ сахаромъ и сметаной, напоминающій нашу творожную пасху. Ужъ поздно вечеромъ вернулись мы усталые домой, и я впервые за все время моего пребыванiя здѣсь послалъ Адама за шампанскимъ. Это былъ день моего ангела, и оба «урюса» (такъ звали киргизы всѣхъ русскихъ) выпили за здравiе милостиваго царя и за исполненiе нашихъ завѣтныхъ надеждъ.

Дни замѣтно укоротились, вечера стали темные, какъ черная ночь, но погода стояла жаркая, ясная и не хотѣлось перебираться въ душный городъ; но лагерь снялся, Достоевскому было далеко ходить

ежедневно въ крѣпость въ казармы, а мнѣ нужно было устроиться въ городской квартирѣ. Да и мысль покинуть Семипалатинскъ все неотступнѣе и неотступнѣе преслѣдовала меня: рѣшилъ взять шестинедѣльный отпускъ, поѣхать осмотрѣться въ Барнаулѣ. Но вмѣсто отпуска чуть не угодили подъ судъ. Вотъ какъ это случилось: является какъ-то ко мнѣ мой тюремный смотритель-инвалидъ и докладываетъ, что къ намъ только что привезена новая арестантка «дѣвица». Долженъ замѣтить, что появленіе арестантки-женщины въ мое время въ Семипалатинскѣ было цѣлымъ событіемъ. Дѣло въ томъ, что киргизы, главная часть населенія, сами по-своему распоряжались съ преступницами и къ тому же при отвращеніи киргизовъ къ русскимъ властямъ рѣдко какое, развѣ ужъ совсѣмъ изъ ряда выдающееся, преступленіе женщины доходило до прокурорскаго надзора.

Крестьяне же и казаки были большею частью старовѣры,—люди солидные, набожные, особенно женщины. Сословіе мѣщанъ, купцовъ и чиновниковъ было, правда, распущенное, но все же ихъ было не такъ много.

А потому, когда инвалидъ сказалъ мнѣ, что арестантка изъ мѣстныхъ и назвалъ ее Прасковья О.... мнѣ это показалось просто невѣроятнымъ недоразумѣніемъ. Прасковью О.... зналъ весь Семипалатинскъ. Она было дочь богатаго казака, красавица, лѣтъ 18—19. Извѣстна была она строгостью нравовъ; многіе преслѣдовали красавицу своими ухаживаніями, но она была неприступна, даже шутокъ и то не любила, пользовалась всеобщимъ уваженіемъ и репутація ея была безупречна. И вдругъ Прасковья—арестантка. Спрашиваю: «Да въ чемъ же ее обвиняютъ?» «Да въ дѣтоубійствѣ, младенчика погубила своего», говоритъ мнѣ старикъ. Ну, думаю, спятилъ



онъ, перепуталь, что хотите, но, право, обвиненіе невѣроятное.

Немедленно приказаль заложить лошадь и вмѣстѣ съ смотрителемъ поѣхаль на гауптвахту, гдѣ находилась тюрьма. Прасковью засталъ одну; увидѣвъ меня, она закрыла лицо обѣими руками и зарыдала. Мнѣ стало жутко; думаю: напраслина, конечно, напраслина. Началь я участливо ее спрашивать, старался заручиться ея довѣріемъ. Долго она упорно молчала и, глядя въ сторону, нервно вздрагивала,—наконецъ повѣдала свое горе. Несмотря на неприступность, сердце ея все же заговорило; влюбилась, забеременѣла, была брошена негодямъ; стыдъ, страхъ передъ родителями омрачили ея умъ и, желая скрыть это несчастіе, въ минуту отчаянія, она дѣйствительно убила ребенка. Ея удрученное состояніе не поддается описанію,—она буквально потрясла меня своимъ рассказомъ.

По закону того времени за сознательное дѣлоубійство полагалось наказаніе—кнутъ. Это нѣчто лютое, жестокое. Слабыя натуры, особенно женщины, зачастую погибали подъ этимъ чудовищнымъ орудіемъ. При этомъ, конечно, многое зависѣло отъ палача, какъ нанести ударъ намѣченной жертвѣ. Ловкіе, набившіе себѣ въ этомъ дѣлѣ руку палачи клали ударъ кнута на тѣло такъ, что виденъ былъ только красный рубецъ; но бывало, что съ каждымъ ударомъ вырывали клочки мяса; случалось, что и убивали на мѣстѣ, кладя ударъ наискось спины такъ, чтобы конецъ кнута, обогнувъ ребра, легъ на полость сердца. Конечно, за это ихъ самихъ начальство присуждало къ сотнѣ розогъ, но это не устрашало, конечно, подобныхъ звѣрообразныхъ людей.

Набирались палачи изъ самыхъ отчаянныхъ каторжниковъ. Выступали они на этомъ поприщѣ по своему

желанію. Всѣ палачи, какъ говорили, вели торговлю своимъ ремесломъ, и приговоренные къ наказанію преступники, ихъ родные и друзья, не жалѣя денегъ, платили палачамъ, дабы облегчить страданія наказуемаго. А тѣ несчастные, которые не имѣли ни копѣйки, чтобы заплатить, или сироты... ну, тѣ, для устрашенія массъ, забивались на смерть.

Прасковѣ предстояло имѣть дѣло и съ кнутомъ, и съ палачомъ. Я рѣшилъ, чтобы облегчить способъ наказанія несчастной, поговорить предварительно съ палачомъ. Я объявилъ ему, что награжу его, если онъ исполнитъ дѣло по совѣсти; въ противномъ случаѣ,—верну на каторгу.

На обязанности моей лежало: присутствовать при экзекуціяхъ, наблюдать за законнымъ, нормальнымъ ходомъ ея и объявлять судимому приговоръ.

Боже! что за муки ада я пережилъ. Чего ни насмотрѣлся я. Какія неигладимо страшныя сцены человѣческихъ страданій за эти два года прошли предо мною! Мое юное сердце, при видѣ каждой подобной сцены, физически болѣло.

Предстояло опять новое такое зрѣлище, да еще надъ женщиной, которую я зналъ и такъ долго считалъ порядочной, преступленіе которой и теперь казалось мнѣ какимъ-то умопомѣшательствомъ—все это, вмѣстѣ взятое, заставило меня подумать, какъ бы облегчить ей мѣру наказанія въ предѣлахъ закона. Я сталъ въ разговорахъ съ ней наводить ее на мысль, что, конечно, она совершила дѣло безсознательно, что ей такъ именно и слѣдуетъ показывать слѣдователю, что она, совершивъ это въ порывѣ отчаянія, не помнила себя. Но какъ я ни упиралъ на это, какъ ни вліялъ на нее въ этомъ смыслѣ, она твердо и упорно отвергала такую постановку вопроса и только и твердила въ изступленіи: «убила ребенка

своего, убила нарочно,—все помню, хочу понести кару Божию, хочу великимъ страданіемъ заслужить Его прощеніе». При этомъ она судорожно и истерично билась на моихъ глазахъ. Эти сцены рѣшительно были превыше моихъ силъ.

Долго убѣждалъ я ее, что, конечно, грѣхъ ея тяжекъ и она всю жизнь должна замаливать его, но что подъ кнутомъ она можетъ погибнуть, не успѣвъ искупить свой грѣхъ. Наконецъ увѣщанія мои, какъ будто, успокоили ее.

Сдалась, наконецъ, на мои доводы Прасковья. Я поспѣшилъ составить протоколъ допроса, подписалъ его,—она была неграмотная,—велѣлъ ей поставить три креста, засвидѣтельствовалъ и немедленно вручилъ засѣдателю. Сдѣлалъ все, казалось... только забылъ римскую пословицу: «Dura lex sed lex».

Думалъ я, что все дѣло теперь пойдетъ, какъ по маслу; радовался, что хоть одну жертву спасъ отъ когтей человѣка-звѣря, но не такъ-то вышло. Началось слѣдствіе. Въ одинъ прекрасный день засѣдатель (мою лютый врагъ при этомъ) представилъ мнѣ свои протоколы, изъ которыхъ я усмотрѣлъ, что Прасковья не только измѣнила показаніе въ томъ смыслѣ, какъ я составилъ протоколъ, но повторила, что, убивая ребенка, дѣйствовала вполнѣ обдуманно, вполнѣ сознательно, что, мучимая раскаяніемъ, желаетъ принять кару Божию. Первоначальныя же, мною изложенныя, показанія были съ моей стороны, прибавляетъ она, у нея вынуждены и, къ довершенію всего, въ протоколѣ засѣдателя значилось, что и кресты, за неграмотностью, на моемъ протоколѣ были поставлены не ею. Ну, послѣднее-то добавленіе было, конечно, дѣло рукъ самого засѣдателя, имѣвшаго со мной не разъ цѣлый рядъ стычекъ за взяточничество, въ которомъ я его неоднократно

уличалъ. Протоколъ свой онъ обработалъ какъ нельзя каверзѣе, радъ былъ, что дорвался до слущая ножку мнѣ подставить.

Вся стая крючкотворовъ-хищниковъ всполошилась, все было пущено въ ходъ: пошли доносы генераль-губернатору, чуть не министру юстиціи.

Палачъ, видя, что я попался въ просакъ и для него, думалъ онъ, больше ужъ не страшень, также донесъ, что я склонялъ его къ облегченію наказанія преступницы. Однимъ словомъ, вышелъ громадный скандалъ, и мнѣ грозила серьезная непріятность; но въ это дѣло вступился милѣйшій губернаторъ П. М. Спиридоновъ и самъ Гасфортъ, исторію эту какъ-то замяли, и остался я, къ большому огорченію Мало-сапожкова и К<sup>о</sup>, невредимъ. На экзекуціи Прасковьи я не присутствовалъ, былъ въ то время въ отсутствіи въ Барнауль, но слышалъ, что она была наказана легко и не кнутомъ,—дорого это обошлось ея роднымъ,—а плетью. Я въ это дѣло болѣе не вмѣшивался.

Удивительныя натуры попадались мнѣ между преступниками-каторжанами. Для психолога или медика—типы эти могли бы послужить интереснѣйшимъ предметомъ для наблюденія.

Въ нашей Семипалатинской области тогда постоянной каторги не было. Въ ней не было даже поселеній для ссыльныхъ, но въ городахъ и особенно въ Семипалатинскѣ проживало множество отбывшихъ каторгу: проживали они на частныхъ квартирахъ. Всѣ ремесленники, большая часть мелкихъ торговцевъ, домашняя прислуга, все это были бывшіе каторжники или ссыльно-поселенцы.

Политическіе же и административно-сосланные составляли главный контингентъ мелкихъ чиновниковъ, писарей, купцовъ, техникувъ, приказчиковъ и управляющихъ.

Можно сказать, что въ тѣ времена политическіе были просвѣтителями Сибири. Нѣкоторые изъ нихъ дослуживались до высокихъ должностей; такъ, на примѣръ, одинъ изъ Муравьевыхъ декабристовъ былъ даже губернаторомъ въ гор. Тобольскѣ. Большинство ссыльныхъ находилось подъ надзоромъ полиціи, но больше номинально, такъ какъ гдѣ же было малочисленному тогдашнему составу полиціи слѣдить за ссыльными, которыми Сибирь была переполнена.

Говоря выше объ удивительныхъ преступныхъ типахъ, я приведу читателю нѣсколько изъ нихъ, особенно поразившихъ меня за время пребыванія моего какъ въ Семипалатинскѣ, такъ и при обзорѣ Тобольской тюрьмы, а заодно попытаюсь изобразить мало, вѣроятно, кому извѣстное, тогдашнее тюремное положеніе въ Сибири. Начну съ Семипалатинска: сидимъ мы какъ-то разъ утромъ съ Достоевскимъ; входитъ Адамъ и докладываетъ, что явился городской изъ полицейскаго управленія, привелъ двухъ мужиковъ, желаютъ меня видѣть. Выхожу—стоитъ городской, а съ нимъ два мужика: одинъ изъ нихъ гигантъ,—въ плечахъ косая сажень, борода съ просѣдью; другой—старикъ, сѣдой, тщедушный. Разспрашиваю, что имъ нужно? Городовой сообщаетъ, что прислалъ ихъ ко мнѣ полиціимейстеръ, что онъ ихъ обоихъ знаетъ и что то, что они мнѣ заявятъ,—сущая правда, и что просить эту просьбу исполнить. А просьба этихъ субъектовъ была довольно необычайная: явились они меня просить: приказать надѣть имъ ручные и ножные кандалы и запереть на время въ тюрьму, «пока лихорадка не пройдетъ»; «чувствуемъ, что кровь прольемъ», говорили они, «такъ и тянетъ насъ убить человѣка, нужно намъ ее видѣть, кровь-то эту». «Сдѣлай Божескую милость—

прикажи заковать», умоляюще обращались они ко мнѣ. Желаніе ихъ было исполнено, и дней черезъ шесть является ко мнѣ унтеръ,—говорить, просить тѣ молодцы расковать да выпустить, «лихорадка, моль, прошла».

А вотъ и еще примѣръ,—это ужъ типы тобольской тюрьмы, гдѣ мнѣ пришлось быть для ознакомленія и изученія тюремнаго дѣла. Въ главной тобольской тюрьмѣ имѣлось такъ называемое «секретное отдѣленіе»,—особнячкомъ стоящая каменная казарма временъ Анны Иоанновны, обнесенная высокою стѣной съ вѣчно запертыми желѣзными засовами воротами.

Казарма эта имѣла особаго смотрителя, особыхъ военныхъ инвалидовъ, живущихъ также на подобіе заключенныхъ,—рѣдко когда отлучались они.

Ворота этой тюрьмы никому не отворялись безъ особаго разрѣшенія губернатора или прокурора. Одинъ наружный видъ этой разрушившейся, мрачной, заброшенной казармы, окруженной ужасными легендами временъ Бирона, наводилъ уныніе и страхъ. Я каждый разъ, входя въ нее, испытывалъ невыразимо удручающее чувство, какая-то нервная дрожь охватывала меня, дыханіе спирало. А когда раздавался лязгъ желѣзныхъ воротъ, запиравшихся за нами, и меня обдавалъ какой-то могильный холодъ,—мнѣ чудилось, что я оттуда болѣе не выйду. И дѣйствительно большая часть людей, впускавшихся въ нее, были заживо похороненные. Отсюда по день смерти своей они не выпускались на свѣтъ Божій, весь остатокъ своей жизни они, какъ звѣри, были прикованы къ стѣнамъ каземата. Это были исключительно каторжники убійцы, рецидивисты, погубившіе цѣлый рядъ душъ человѣческихъ; бывали такіе, какъ я усматриваю изъ сохранившихся моихъ писемъ того времени, чудовища, на совѣсти которыхъ было до

20 жертвъ—это то, что установлено было только слѣдствіями, а Богъ вѣсть, сколько еще ихъ убійствъ скрыто было отъ суда земного и лежало на ихъ совѣсти? Казарма эта вмѣщала въ себѣ 28 каморокъ, вѣрнѣе будетъ сказать, мрачныхъ пещеръ, логовищъ, расположенныхъ по обѣ стороны коридора. Въ каморкѣ подь потолкомъ было узкое окно съ рѣшеткою и стекломъ годами не протиравшимся, такъ что свѣтъ дневной еле пробивался, въ дни же пасмурные въ берлогахъ этихъ царилъ постоянный полумракъ, такъ что нерѣдко при нашихъ дневныхъ посѣщеніяхъ дежурный надсмотрщикъ освѣщаль намъ путь фонаремъ.

Кромѣ мрака, было еще нѣчто болѣе нестерпимое,—смрадь отъ стоявшихъ «парашъ», грязь вездѣ была непролазная; гробовая тишина изрѣдка прерывалась только лязгомъ цѣпей прикованныхъ преступниковъ.

Какъ могла натура человѣческая вынести такіа жизненныя условія,—непостижимо. Многіе, впрочемъ, вскорѣ погибли отъ чахотки. Но были и желѣзныя натуры: имъ какъ будто былъ нипочемъ этотъ адъ.

Въ мое время сидѣлъ тамъ такой звѣрь-человѣкъ, проведеншій въ заключеніи, прикованный, 30 лѣтъ. Такіе же здоровяки, коренастые были извѣстные въ то время Орловъ и Кореневъ, о которыхъ буду говорить ниже. Всѣ такіе каторжники носили ручные и ножные кандалы и были прикованы на желѣзномъ поясѣ къ стѣнѣ подь окномъ, гдѣ находились нары; такимъ образомъ цѣпь приходилась поперекъ нары и отъ нея они могли отступать шага на два, на три; тутъ они, чтобы размять свои одервенѣвшія ноги, двигались назадъ и впередъ, какъ звѣри въ клѣткѣ.

Комнаты были довольно высокія, но не болѣе 4 аршинъ ширины и 6 длины. Прогулки секретнымъ арестантамъ, конечно, не полагалось, и даже въ случаѣ болѣзни въ то время ихъ въ госпитали не посылали, такъ какъ боялись ихъ побѣга и новыхъ убійствъ.

Когда мы впервые посѣтили тюрьму, этотъ адъ кромѣшный, прокуроръ предупредилъ меня близко къ заключеннымъ не подходить: были случаи, что эти озвѣрѣлые люди, озлобленные на судьбу и людей, неожиданно вдругъ подымали обѣ руки, закованныя желѣзными кандалами, и, взмахнувъ ими, мощнымъ ударомъ цѣпи по головѣ убивали разговаривавшаго съ ними. «Особенно подальше отъ Орлова», прибавилъ прокуроръ.

Этотъ Орловъ былъ замѣчательный типъ. Онъ былъ, говорили, изъ образованныхъ, изъ Петербурга. Сосланый за страшное убійство, онъ бѣжалъ, разбойничалъ со своею шайкой, погубилъ массу душъ, былъ пойманъ, снова бѣжалъ, снова рѣзалъ и грабилъ и въ концѣ концовъ былъ водворенъ здѣсь. На видъ ему было лѣтъ 40, не болѣе, атлетъ, красавецъ, брюнетъ, съ бородою, съ страшными глазами. Впослѣдствіи мнѣ еще придется о немъ говорить.

Прокуроръ разспрашивалъ всѣхъ заключенныхъ о нуждахъ ихъ и дѣлалъ замѣтки въ памятной книжкѣ; пробиралъ надсмотрщиковъ за ужасную грязь и вонь, давалъ мнѣ совѣты... а я еле понималъ, что дѣлалось кругомъ.

Попалъ я сюда прямо изъ блестящихъ петербургскихъ салоновъ, мнѣ было тогда 21 годъ и я ѣхалъ сюда, въ Сибирь, съ самыми свѣтлыми взглядами и розовыми надеждами, и вдругъ такія картины Дантовскаго ада... Я былъ совсѣмъ ошеломленъ.



Немногимъ лучше было и въ остальныхъ отдѣленіяхъ тюрьмы. Публикѣ нашей извѣстны сибирскія тюрьмы по описанію, напримѣръ, Кеннана. Но что онѣ были въ Николаевскія времена—едва ли многіе знали, цензура ничего не пропускала.

Ниже читатель найдетъ занесенныя очевидцами непосредственно подѣ свѣжимъ впечатлѣніемъ описанія этихъ ужасныхъ клоакъ того времени. Гуманный В. А. Арцимовичъ, новый, только что назначенный губернаторъ, горячо принялся за дѣло, попытался бороться и съ тюремными порядками, но скоро разочаровался.

При осмотрѣ тюремнаго замка, В. А. былъ пораженъ ужаснымъ помѣщеніемъ арестантовъ и ссыльных<sup>1)</sup>. Вотъ что онъ нашелъ. «Острогъ этотъ представлялъ старое, небольшихъ размѣровъ, зданіе, подпираемое во многихъ мѣстахъ по ветхости деревянными столбами, а между тѣмъ въ немъ должна была помѣщаться вся та масса ссыльныхъ и каторжныхъ, которая постоянно направлялась въ Тобольскъ изъ всѣхъ губерній Россіи. Правильно и удобно размѣстить всѣхъ людей было рѣшительно невозможно въ такомъ маленькомъ зданіи, какимъ былъ старый острогъ. Отъ этой тѣсноты и ветхости стѣны и половъ тюремнаго замка, издававшихъ зловоніе, воздухъ въ арестантскихъ камерахъ былъ невозможенъ: онъ былъ переполненъ міазмами, а это влекло за собой распространеніе болѣзней между арестантами. Между тѣмъ въ Тобольскѣ въ то время уже красовались стѣны подѣ крышею новаго обширнаго тюремнаго замка, но полная достройка его не оканчивалась цѣлыя 12 лѣтъ изъ-за препирательствъ съ подрядчиками и по случаю нѣ-

<sup>1)</sup> См. «Вѣстникъ Европы», статья «Тобольская губернія».

которыхъ злоупотребленій, обнаруженныхъ при постройкѣ».

А вотъ передо мною сохранившееся мое письмо къ отцу отъ 23 ноября 1854 года изъ Тобольска. Въ немъ изложены мои личныя впечатлѣнія тотчасъ послѣ посѣщенія тобольской тюрьмы:

«На далекомъ сѣверѣ обширнаго нашего отечества есть мѣсто, предназначенное людьми принимать всѣхъ выкидышей общества. Мѣсто это—главная въ Россіи тобольская тюрьма. Въ этой ужасной ямѣ былъ я сегодня съ губернаторомъ В. А. Арцимовичемъ, чиновникомъ особыхъ порученій В. М. Жемчужниковымъ <sup>1)</sup> и прокуроромъ. Мраченъ и угрюмъ видъ тюремнаго замка снаружи, но еще страшнѣе онъ внутри. Построенный при Биронѣ на верху крутого утеса, онъ какъ будто отдѣленъ отъ міра земного и представляетъ собою особый міръ,—міръ вѣчныхъ страданій и слезъ. Здѣсь день и ночь скрежетъ зубовъ и плачь несчастныхъ, здѣсь нерѣдко матери убиваютъ своихъ дѣтей, чтобы освободить отъ страданій, здѣсь можно увидѣть всѣ степени паденія человѣка. Вы, дорогой папенька, не въ состояніи рѣшительно представить себѣ этотъ адъ земной, въ которомъ мнѣ довелось побывать сегодня. Надо видѣть эту клоаку, чтобы понять, что можетъ *снести* человѣкъ и до чего, правда, можетъ онъ *пасть*. Все, что я здѣсь вижу, описать Вамъ не могу. Словами не передать всей страшной драмы тюрьмы, нужна кисть талантливаго художника. День 23-го ноября запечатлѣлся у меня навѣки, я никогда его не забуду. Если бы Вы знали, какъ страдало сегодня мое юное сердце, то, что я видѣлъ, останется въ памяти у меня навсегда. Мы присутствовали въ тю-

<sup>1)</sup> Кузьма Прутковъ.

ремномъ замкѣ на богослуженіи—служилъ архіерей; онъ симпатизируетъ арестантамъ, добръ къ нимъ и ими любимъ. Сказаль онъ трогательную назидательную проповѣдь. Я слушалъ, стоя среди разбойниковъ и убійць, и молился за нихъ. Какое потрясающее впечатлѣніе. Многіе плакали навзрыдь, вздыхали, падали шумно на колѣни, а грохотъ цѣпей мѣшался съ святымъ пѣніемъ. Повременамъ раздавался истеричный вопль и крикъ арестантокъ-кликушъ, онѣ тутъ же падали и судорожно бились, ихъ спѣшно выносили. Наступала тишина, но ненадолго, опять вопли и визги. Кликуши мѣшали молиться. Эта страшная болѣзнь нервовъ, сказала мнѣ докторъ, очень распространена между женщинами-арестантками. Она очень къ тому же заразительна. Нерѣдко эта ужасная болѣзнь одной кликуши непреодолимо отражается и на остальныхъ здоровыхъ, иногда поль-камеры бываетъ охвачено ею, даже дѣти. Оттого обыкновенно при первомъ появленіи кликуши, при первомъ ея истеричномъ всхлипываніи многія здоровыя спѣшатъ удалиться.

«Послѣ обѣдни мы пошли осматривать всѣ закоулки ужаснаго тюремнаго замка. Въ немъ за прошлый 1853 годъ перебивало 400 человѣкъ обыкновенныхъ заключенныхъ въ тюрьму, 8300 лишенныхъ правъ состоянія, 1200 сосланныхъ на поселеніе, слѣдовавшихъ за супругами по собственной волѣ 1000 человѣкъ и вновь водворенныхъ бѣглыхъ арестантовъ 140, т. е. около 11000 человѣкъ. Зданія острога стоятъ уже съ незапамятныхъ временъ. Часть ихъ каменные, но большая—деревянныя, длинныя, совершенно ветхія; всѣ они покривились и вросли въ землю, такъ какъ всѣ безъ фундамента. Оконъ много повыбито, затыкано тряпками и соло-

мою, несмотря на 40 градусо́въ мороза. Въ этихъ лачугахъ, сто разъ хуже Вашихъ конюшенъ, добрый папенька, живутъ люди. Правда, здѣсь уже выстроены новый острогъ, великолѣпный, но вотъ уже 12 лѣтъ онъ пустъ, такъ какъ черезъ годъ стѣны треснули; зато у строителей лучшіе дома въ городѣ.

«Осмотръ мы начали съ больницы, деревянной, низкой. Въ крошечныхъ, темныхъ, душныхъ, безъ форточекъ комнатахъ, тѣсно другъ возлѣ друга, прикованные къ постели лежатъ не люди, а скелеты. Воздухъ до того спертъ, зловоніе такъ велико,—здѣсь же и «параша»,—что я думалъ, что задохнусь. У многихъ больныхъ, глядѣвшихъ на насъ, я подмѣтилъ въ глазахъ выраженіе злобы и ненависти. Между прочимъ мы увидѣли тутъ умирающаго разбойника, который въ горячкѣ, въ бреду произносилъ имена жертвъ, павшихъ подъ его ножомъ, и молилъ о прощеніи. Да, папенька, это была страшная картина мученій совѣсти, душу раздирающее зрѣлище. Но всего ужаснѣе то, что здѣсь же, среди убійцъ, воровъ лежали иногда совсѣмъ маленькія дѣти, съ блѣдными прозрачными лицами, исхудавшія точно маленькіе скелеты. Лежали одни, эти несчастныя, брошенные безъ присмотра. Одежда на всѣхъ изодранная, въ лохмотьяхъ, грязная, а бѣлье постельное въ больницахъ совсѣмъ черное, многіе валялись просто на сѣнникахъ. До приѣзда Арцимовича ни одинъ губернаторъ сюда не заглядывалъ, рѣдко посѣщалъ даже и главный докторъ; остальные, кому ввѣрена больница, заняты были попойками, картами, доходами,—но не больными.

«Отсюда пошли мы во флигель, гдѣ содержались арестанты. Въ комнату, не болѣе нашей деревенской залы, за недостаткомъ помѣщенія вмѣщаются 100 чело́вѣкъ. Тѣснота, вонь, грязь неописуемая. Деревян-

ные полы провалились, нары кишать насѣкомыми, по стѣнамъ тучи клоповъ.

«Кого мнѣ особенно жаль, за кого особенно болить мое сердце, папенька, это за переселенцевъ, сосланныхъ по волѣ помѣщиковъ. Всѣ почти они семейные, и видѣть ихъ невинныхъ женъ и дѣтей, безвинно страдающихъ, душа надрывается. Большая часть изъ нихъ гибнетъ еще по дорогѣ отъ стужи, голода и болѣзней.

«Скажу Вамъ сущую правду, большинство сосланныхъ поселенцевъ невинныя жертвы помѣщичьяго произвола. Очень желалъ бы я, чтобы эти господа побывали здѣсь да посмотрѣли бы, куда и на какія муки шлютъ они людей своихъ, имъ Богомъ и Провидѣніемъ ввѣренныхъ, и я убѣжденъ, что впредь они, коли совѣсть у нихъ есть, закаялись бы это дѣлать.

«Вотъ еще кого жаль мнѣ, это несчастныхъ поляковъ-политическихъ,—ихъ теперь везутъ сюда много и все молодежь образованная. Такъ, напри- мѣръ, вчера привезли изъ Варшавы графа Янычевскаго. Дворянъ везутъ до Тобольска, а отсюда ихъ отправляютъ къ мѣсту назначенія пѣшкомъ во всякое время года скованными вмѣстѣ съ убійцами. Каково прогуляться, напри- мѣръ, въ Восточную Сибирь, нѣсколько тысячъ верстъ, да еще зимою! <sup>1)</sup> Что сказать Вамъ о пищѣ этихъ несчастныхъ. Нашъ скотъ, конечно, лучше кормятъ. Вотъ, напри- мѣръ, на дняхъ, по небрежности плута-эконома, всѣ заключенные сидѣли два дня безъ куска хлѣба, а вѣдь это главная ихъ ѣда. Впрочемъ, съ тѣхъ поръ, какъ добрый В. А. Арцимовичъ здѣсь губернаторъ, Богъ

---

<sup>1)</sup> О. М. Достоевскій благодаря заступничеству Анненковыхъ былъ доставленъ на каторгу въ Омскъ въ кибиткѣ.

дать, все иначе будетъ, онъ прилагаетъ всѣ силы улучшить бытъ этихъ несчастныхъ.

«Богъ благословить его за этихъ страдальцевъ!

«Побывали мы и въ секретномъ отдѣленіи; ну, это ужъ не люди, папенька, а звѣри. Все это большею частью разбойники вродѣ Rinaldo Rinaldini; прико-ваны они къ стѣнамъ своихъ тѣсныхъ конуръ. Они и волосами обросли, какъ звѣри. Страшно смотрѣтъ на этихъ чудовищъ, алчущихъ крови».

Такъ писалъ я отцу своему пятьдесятъ пять лѣтъ тому назадъ.

Теперь возвращаюсь къ описанію поразившихъ меня типовъ преступниковъ. Послѣдній арестантъ, къ которому мы подошли, былъ знаменитый Кореневъ,—самый предприимчивый и опасный. За нимъ считалось, какъ я усматриваю изъ моихъ замѣтокъ, восемнадцать убійствъ. Съ каторги онъ бѣгалъ неоднократно. По виду въ немъ не было ничего разбойничьяго. Пожилой человѣкъ, борода съ просѣдью, мирные, добрые глаза; въ нихъ не было замѣтно того особеннаго, беспокойнаго, блуждающаго огонька или того пронзающаго остраго взгляда, который я часто подмѣчалъ у безшабашныхъ преступниковъ. Средняго роста, коренастый, на видъ здоровякъ, только вялая блѣдность лица, какъ у всѣхъ долго лишенныхъ воздуха и солнца.

Вскорѣ послѣ нашего посѣщенія тюрьмы, этотъ Кореневъ вмѣстѣ съ другимъ секретнымъ заключеннымъ бѣжалъ. Слѣдствіе выяснило, что они скрылись, подпиливъ оковы, цѣпь и рѣшетку окна. Подпилки были имъ переданы за извѣстную мзду ихъ же надсмотрщиками въ караваяхъ чернаго хлѣба, перемѣна платья была приготовлена въ условленномъ мѣстѣ. Но успѣлъ скрыться только Кореневъ; другой же бѣглець, ошеломленный свѣжимъ воздухомъ,

впаль въ глубокой обморокъ, къ тому же при паденіи свихнулъ ногу и былъ схваченъ.

Бѣгство Коренева, конечно, было очень неприятно начальству, но въ то время всѣ были увѣрены, что этотъ отчаянный рецидивистъ вскорѣ опять не минуетъ рукъ правосудія. Крестьяне были страшно озлоблены на него.

Типы, подобные Кореневу,—не люди, собственно говоря это уже звѣри, алчущіе крови и сильныхъ ощущеній. И дѣйствительно, недѣли три спустя послѣ бѣгства Коренева, прокуроръ далъ мнѣ знать, что бѣглець схваченъ, закованъ, а если я желаю быть при допросѣ, чтобы пріѣхалъ къ назначенному для вопроса времени. Отправился я, и вотъ каковъ былъ рассказъ, который я услышалъ изъ устъ самого преступника.

Смирно, спокойно, безъ малѣйшаго волненія, какъ-будто дѣло касалось дѣйствій лица посторонняго, а не его самого, рассказалъ намъ Кореневъ свои похождения: «Ну, зашелъ это я послѣ побѣга къ пріятелю, переодѣлся, припасъ денегъ и направился я лѣсами по Ирбитскому тракту. Набралъ молодцовъ-товарищей немного, но знатныхъ! Вѣдь нашего брата, каторжника, по лѣсамъ шляется видимо-невидимо. Ну вотъ, зажили мы вольготно, весело (какъ-то захлебываясь, добавилъ онъ), грабили, поубивали, гдѣ пришлось,—такъ и пѣтуха краснаго подпустили,—да вотъ все водка проклятая,—все дѣло наше испортила. Забрались это мы разъ въ корчму, на опушкѣ лѣса стояла, богатѣющую по виду, хозяйинъ-то въ хатѣ былъ одинъ, и пикнуть не успѣлъ, какъ мы его раздѣляли, заглянули по ящичкамъ, да сундучкамъ, деньженокъ кой-что наскребли, да тутъ же на глаза водка проклятая попадись, набросились на нее—здорово угостились!

Слышимъ вдругъ скрипъ намазанныхъ колесъ. «Ну, братцы», говорю, «ухо остро держи, новая пожива». Притаились кто—гдѣ, видимъ, ѣдетъ телѣга, а лошадей править старикъ; подлѣ него молодуха съ груднымъ младенцемъ. Надъ старикомъ недолго работали, убили. Только какъ увидѣлъ я эту кровь»,—воодушевляясь, продолжалъ свой рассказъ злодѣй,—«съ водки, что-ль, будь она проклята, точно въ голову что ударило, схватилъ я у матери ребеночка за ножки и началъ имъ это я по воздуху размахивать. Онъ, шельма, оретъ. Ну я, чтобъ долго съ нимъ не валандаться, со всего размаха хвать его головою объ колесо, ну вся голова и разлетѣлась и мозги повыскакали, а меня-то горячей кровью такъ и обдало. Пока это мы тѣшились, да забавлялись, а бабенка-то, чтобъ ей пусто было, прыгъ въ лѣсъ, добѣжала до деревни, скликала народъ; прибѣжали люди, да тутъ на мѣстѣ насъ и накрыли! Только всего и дѣла-то было», цинично закончилъ свой рассказъ звѣрь-человѣкъ.

Это потрясающее повѣствованіе и теперь, на склонѣ моихъ лѣтъ, когда я его восстанавливаю, глубоко волнуетъ меня и наводитъ на размышленія. Въ настоящее время такъ много пишутъ и говорятъ о неотложной необходимости *совершенно* уничтожить смертную казнь; полное отрицаніе ея, я знаю, есть признакъ либерализма настоящаго времени.

Тѣмъ не менѣе, я, человѣкъ вполне мягкосердечный, по совѣсти могу сказать, едва ли въ жизниумышленно кому-либо сдѣлавшій какое-нибудь зло, теперь, пройдя долгій жизненный опытъ, съ полнымъ убѣжденіемъ, смѣло утверждаю, что для подобныхъ, мною выше изображенныхъ звѣрь-человѣковъ, утратившихъ окончательно образъ и подобіе божеское, другого исхода избавить отъ нихъ



общество, какъ смертная казнь, нѣтъ. Надежды на исправленіе и возвратъ ихъ въ кругъ нормальныхъ людей быть не можетъ; такъ какая же это гражданская заслуга, спрашиваю я, поддерживать на народныя деньги ихъ не только бесполезное, но и несомнѣнно вредное существованіе?

Но вернусь еще къ тюремнымъ сибирскимъ эпизодамъ.

До какой степени въ мое время въ Сибири царило какъ злоупотребленіе властью, такъ и подкупъ въ судебномъ вѣдомствѣ, и особенно въ тюрьмахъ и каторгѣ, это, право, нѣчто невѣроятное.

Читатель помнитъ, вѣроятно, выше описаннаго мною каторжника Орлова.

Убийца-рецидивистъ, какихъ только злодѣйствъ не было у него на душѣ. Между прочимъ, однажды онъ попалъ въ тюрьму за растлѣніе своихъ малолѣтнихъ дочерей, которыхъ онъ, къ довершенію, еще и убилъ, чтобы скрыть преступленіе. Ну, послѣ долгихъ своихъ походовъ онъ былъ наконецъ запрятанъ въ секретное отдѣленіе тобольской тюрьмы, гдѣ я его увидалъ прикованнымъ къ стѣнѣ каземата. Что же узналъ я впоследствии о немъ.

Было замѣчено начальствомъ, что кѣмъ-то дѣлались самые каверзные доносы генераль-губернатору и иногда даже въ Петербургъ о разныхъ тюремныхъ дѣлахъ, въ особенности же о томъ, что дѣлается въ «секретномъ отдѣленіи». Ломали себѣ голову,—додуматься не могли. Каково же было всеобщее удивленіе, когда въ одинъ прекрасный день прискакалъ изъ Петербурга командированный княземъ Орловымъ чиновникъ съ приказомъ немедленно произвести слѣдствіе и ревизію.

Слѣдствіе открыло, что доносы эти, черезъ прислугу князя Орлова, дѣлалъ секретный преступникъ

Орловъ, имѣвшій въ Петербургѣ родственника. Кромѣ того установленъ невѣроятный подкупъ надсмотрщиковъ. Оказалось, что они приносили заключеннымъ водку, карты, водили къ нимъ женщинъ, а самъ Орловъ оказался сожителемъ супруги одного осторожнаго чиновника и былъ отцомъ ея нѣсколькихъ дѣтей. Ревизія эта вообще обнаружила много вопіющаго, да толкъ-то отъ этого для пользы дѣла получился нескоро.

Думаю, что теперь многое перемѣнилось къ лучшему, да и пора! шестьдесятъ лѣтъ срокъ не малый!

Въ мое время это была страна дикая, населенная людьми полудикими, развращенными, собиравшая у себя всѣ отбросы Россіи. Она кишѣла разбойниками и грабителями. На всѣхъ большихъ дорогахъ «шалили» (сибирское выраженіе). Въ городахъ также было не лучше. Малочисленный составъ полиціи ничего подѣлать не могъ. Да и та полиція, что была, нерѣдко сама становилась во главѣ грабителей и убійць и тайно руководила ими; такъ, напри- мѣръ, въ мое время въ губернскомъ городѣ Томскѣ дня не проходило, чтобы не было грабежа или убійства.

Мѣстный полицеймейстеръ полковникъ Люб... увѣрялъ, что безъ денегъ ничего рѣшительно подѣлать противъ этого бѣдствія нельзя. Въ городѣ, однако, носился слухъ, что въ этомъ дѣлѣ что-то не совсѣмъ чисто, что сама полиція имѣетъ основанія ничего не открывать. На счастье для города, злоумышленники какъ-то произвели взломъ у извѣстнѣйшаго въ Сибири богача, золотопромышленника И. Асташева.

Въ его домъ, первый въ Томскѣ по красотѣ, изяществу и хлѣбосольству, какъ-то ночью проникли

грабители, взломали желѣзный сундукъ съ деньгами и захватили довольно большую сумму денегъ. Асташевъ былъ человекъ съ характеромъ, объявилъ, что во что бы то ни стало откроетъ виновниковъ грабежа и ихъ покровителей—ничего не пожалѣетъ.

Онъ пустилъ въ ходъ все свое вліяніе; нарядили слѣдствіе, которое поручили моему честнѣйшему лицейскому товарищу барону А. О. Штакельбергу (умеръ будучи сенаторомъ), чиновнику особыхъ порученій при В. А. Арцимовичѣ. Забравъ въ Семипалатинскъ спеціально повидать меня, вотъ что онъ рассказалъ: Послѣ долгихъ усилій удалось Штакельбергу найти искуснаго сыщика, кромѣ того унтеръ, надсмотрщикъ арестантовъ, помогаль ему. Скоро открыли всѣхъ причастныхъ къ этому дѣлу лицъ. Кромѣ того были собраны улики, что двое полицейскихъ чиновниковъ были заодно съ извѣстною въ то время грабительскою шайкою. Несомнѣнно было установлено, что и самъ полицеймейстеръ, полковникъ Л-въ—во всѣхъ этихъ происшествіяхъ не безъ грѣшка. Но вотъ въ самомъ разгарѣ слѣдствія... сыщикъ пропадаетъ безслѣдно, а унтера находятъ въ одно прекрасное утро повѣшеннымъ подъ окномъ Штакельберга.

Такъ слѣдствіе и пришлось прервать.

Послѣ, однако, Асташевъ таки добился своего; всѣ виновники понесли наказаніе, не миновало возмездіе и вышеупомянутаго полицеймейстера.

Ну, да такой исходъ разслѣдованія преступленій бывалъ не часто.

Въ большинствѣ случаевъ такія дѣла творились безнаказанно; были бы деньги, и скроютъ и помилуютъ—все возможно. Вотъ хоть бы еще такой примѣръ.

Градоначальникъ Кяхты Г. Л-чь организовалъ контрабанду чаемъ, соболями и ямбами серебра, вы-

возившагося изъ Китая en grand. Въ одинъ прекрасный день въ подвалахъ его дома и въ городскомъ саду открыты были присвоенные имъ цѣлые склады этого товара, напимѣръ, восемь сотъ большихъ цибиковъ чая и много всякаго добра. И что же, спросить меня читатель, какую кару понесъ этотъ блюститель порядка и закона? Да никакой! откупился и былъ еще въ послѣдствіи назначенъ губернаторомъ.

Разбойничьи шайки въ мое время были дѣломъ весьма обыкновеннымъ. Въ мое время существовала въ городѣ Бійскѣ такса за совершеніе преступленія. Коли потребуется убить кого—10 рублей, отравить—15 рублей. Когда я выразилъ удивленіе такой разницѣ въ ихъ преискурантѣ, то одинъ изъ засѣдателей пояснилъ мнѣ, что объясненіе эти темные герои даютъ по этому поводу такое: «Убьешь коли кого въ лѣсу, аль что украдешь—возьмешь да въ укромномъ мѣстечкѣ и закопаешь! пойдѣ, ищи!»

«А отравишь,—дѣло порискованнѣе: какъ подойдетъ пропорція; еще съ зелья-то другой человѣкъ только приболѣеть! Запримѣтять, а тутъ еще «дохтура» начнутъ слѣдить; помреть, вскрытіе не дай Богъ сдѣлають,—а потому дѣло-то это и приходится варганить съ опаскою,—вотъ потому-то и цѣна ему на 50 процентовъ дороже».

Отравленіе почему-то было особенной спеціальностью женщинъ-преступницъ.

Грабежи и разбои, развитые въ Сибири искони, принимались населеніемъ какъ вещь чуть ли не обыкновенная. Лучшимъ показаніемъ можетъ служить установившійся тогда по всѣмъ сибирскимъ деревнямъ обычай. На ночь, подъ окнами дома, на скамью, ставилась крынка молока и краюха хлѣба. Скрывавшіеся въ горахъ и лѣсахъ бѣглые смотрѣли на это, какъ на положенную дань. Горе тому хозяину,

который не припасеть—или домъ ему подожгутъ, или зарѣжутъ кого изъ семьи. Бѣгство изъ тюремъ и каторги особенно сильно развивалось весной,— заключенные говорили мнѣ, что на нихъ находило какое-то тягостное чувство, какое-то непреодолимое влеченіе бѣжать. Яркое солнце, синее небо, зелень—все это тянетъ узника на свѣтъ Божій. Мысль о волѣ, свободѣ—гнететъ, не даетъ покоя, пока человѣкъ не сыщеть способа бѣжать. Скрываются они обыкновенно въ тайгѣ, въ необозримыхъ лѣсахъ Сибири. Тамъ у нихъ, у которжниковъ, имѣются имъ извѣстныя тропы, пещеры, мѣста сборищъ, но всегда, ради поживы, вблизи селеній и городовъ. Крестьяне ихъ боятся и ненавидятъ, хотя называютъ ихъ по-сибирски «несчастные».

Старые чиновники рассказывали мнѣ, что бывало, когда набѣги изъ лѣсовъ становились невыносимыми, на разбойниковъ дѣлались облавы, какъ на звѣрей, окружали лѣсъ войсками; крестьяне очень охотно принимали участіе въ этой облавѣ. Тутъ же эти шайки обстрѣливались. Зачастую труповъ убитыхъ не зарывали, оставляя гнить.

У сибирскихъ разбойниковъ тогда былъ особый способъ вымогать деньги, мстить и истязать свои жертвы. Человѣкъ привязывался къ дереву голый и доставался на съѣденіе комарамъ и мошкѣ. Въ Сибири, въ тайгѣ и близъ рѣкъ и озеръ, цѣлыя тучи этихъ насѣкомыхъ; они производятъ невѣроятныя мученія, облѣпляютъ людей и скоть мириадами, производятъ укусами невыносимый зудъ, боль и опухоль,—зачастую люди умираютъ отъ кожного воспаления тѣла. Такого рода истязанія распространены были и въ центральной Азіи, только тамъ они носили названіе ямъ-клоповниковъ; сюда власти сажали преступниковъ, а въ мое время даже и европейцевъ.

О'Конелли и Стодартъ, англійскіе политическіе агенты, были посажены въ такіе клоповники, потомъ обезглавлены.

Той же участи чуть было не подвергся посланный въ Бухару нашъ Струве (посланникъ въ Японіи и въ Голландіи), но потомъ рѣшено было посадить его на колы. По счастью, бухарскій ханъ узналъ въ то время, что наши войска идутъ на Бухару, и Струве освободилъ.

Наименованіе клоповниковъ эти мѣста пытки получили уже въ нашемъ вольномъ переводѣ съ тюркскаго языка; собственно это были ямы, наполненныя всевозможными червями и насѣкомыми. У нихъ до прихода русскихъ и понятія о клопахъ не было. Клоповники эти были тамъ упразднены собственно еще не такъ давно. Въ 1886 году по настоянію нашего резидента въ Бухарѣ Н. В. Чарыкова (впослѣдствіи товарища министра иностранныхъ дѣлъ) имъ освобождено было изъ этихъ ужасныхъ ямъ 110 заключенныхъ.

Да! далеко теперь ушла Сибирь и въ культурномъ и въ нравственномъ отношеніи. Кто бы могъ повѣрить теперь хотя бы тому, что мѣстныя власти пытками вымогали поборы и что бывали губернаторы, бравшіе взятки по полтиннику <sup>1)</sup>?

Или вотъ, напримѣръ, такіе курьезы, о которыхъ въ мое время сообщалъ очевидецъ ихъ В. М. Жемчужниковъ въ письмѣ къ отцу своему, сенатору М. Н. Жемчужникову.

«Чичеринскій полицмейстеръ ѣздилъ по городу не иначе, какъ съ бутылками шампанскаго въ рукахъ и двумя трубачами на крыльяхъ дрожекъ, при чемъ

---

<sup>1)</sup> См. «Вѣстникъ Европы». Статья: Тобольская губернія. Матеріалы для біографіи В. А. Арцимовича.

трубачи трубили, чтобы знали всѣ, что полицмейстеръ веселится!» и дальше: «А вотъ новый полицмейстеръ: онъ, правда, не ѣздилъ съ трубачами, а, какъ здѣсь водится, съ казаками, но при этомъ съ палкой, никому не давая дороги, и при этомъ всѣхъ встрѣчныхъ—кого ударить (не разбирая званія, но разбирая отношенія), кого захватить въ полицію—для выкупа... Теперь здѣсь суетня, работаютъ день и ночь, ожидая ревизіи, согласно духу XIX вѣка; открытія слѣдуютъ за открытіями: тамъ растрочены суммы, здѣсь открываютъ цѣлые шкафы недоложенныхъ и утаенныхъ дѣлъ; тутъ настоящіе разбои и грабежи властей».

Недолго выдержалъ В. М. Жемчужниковъ это болото—бѣжалъ. Баронъ Штакельбергъ, Гюббенетъ, Анненковъ послѣдовали его примѣру.

В. А. Арцимовичъ, много потрудившійся на пользу края и оставившій по себѣ теплую память, вель неустанную борьбу съ учрежденіями и лицами, тормозившими ходъ дѣлъ по управленію губерніею и не разъ порывался покинуть все...

А потому читатель мой, ознакомившись со всѣмъ сообщеннымъ мною выше, пойметъ, какъ неудержимо меня, 23-хъ-лѣтняго юношу, тянуло подальше отъ этого «темнаго царства», туда, гдѣ была жизнь здоровая, прогрессирующая, гдѣ, я надѣялся, можно будетъ работать, принося пользу своей отчизнѣ, не растрчивая безцѣльно и бесплодно своихъ силъ и энергіи... Я рѣшилъ безповоротно покинуть Семипалатинскъ.

**Смерть Исаева. — Заботы Достоевскаго о Маріи Дмитріевнѣ. — Мой отъѣздъ изъ Семипалатинска. — Разлука съ Достоевскимъ.**

Еще въ половинѣ августа, находясь по дѣламъ службы въ Бійскѣ, я неожиданно получилъ очень возбужденное письмо отъ Достоевскаго. Онъ извѣщалъ меня о смерти Исаева. Все письмо дышетъ самой трогательной заботливостью о Маріи Дмитріевнѣ. Помѣщаю его въ подлинникѣ:

Семипалатинскъ, 14 августа 1855 г.

«Съ перваго же слова прошу у васъ извиненія, дорогой мой Александръ Егоровичъ, за будущій безпорядокъ моего письма. Я уже увѣренъ, что оно будетъ въ безпорядкѣ. Теперь два часа ночи, я написалъ два письма. Голова у меня болитъ, спать хочется и къ тому же я весь разстроены. Сегодня утромъ получилъ изъ Кузнецка письмо. Бѣдный, несчастный Александръ Ивановичъ Исаевъ скончался. Вы не повѣрите, какъ мнѣ жаль его, какъ я весь разстроены. Можетъ быть, я только одинъ изъ здѣшнихъ и умѣлъ цѣнить его. Если были въ немъ недостатки, наполовину виновата въ нихъ его черная судьба. Желалъ бы я видѣть, у кого бы хватило терпѣнія при такихъ неудачахъ? Зато сколько доброты, сколько истиннаго благородства. Вы его мало знали. Боюсь, не виновать ли я передъ нимъ, что подчасъ, въ желчную минуту, передавалъ вамъ, и, можетъ быть, съ излишнимъ увлеченіемъ, однѣ только дурныя его стороны. Онъ умеръ въ нестерпимыхъ страданіяхъ, но прекрасно, какъ дай Богъ умереть и намъ съ вами. И смерть красна на человѣкѣ. Онъ умеръ твердо, благословляя жену и дѣтей и только



томясь объ ихъ участи. Несчастливая Марья Дмитриевна сообщаетъ мнѣ о его смерти въ малѣйшихъ подробностяхъ. Она пишетъ, что вспоминать эти подробности—единственная отрада ея. Въ самыхъ сильныхъ мученіяхъ (онъ мучился два дня) онъ призывалъ ее, обнималъ и непрерывно повторялъ: «Что будетъ съ тобою, что будетъ съ тобою?» Въ мученіяхъ о ней онъ забывалъ свои боли. Бѣдный! Она въ отчаяніи. Въ каждой строкѣ письма ея видна такая грусть, что я не могъ безъ слезъ читать, да и вы, чужой человѣкъ, но человѣкъ съ сердцемъ, заплакали бы. Помните вы ихъ мальчика, Пашу? Онъ обезумѣлъ отъ слезъ и отъ отчаянія. Среди ночи вскакиваетъ съ постели, бѣжитъ къ образу, которымъ его благословилъ отецъ за два часа до смерти, самъ становится на колѣни и молится, съ ея словъ, за упокой души отца.—Похоронили бѣдно, на чужія деньги (нашлись добрые люди), она же была какъ безъ памяти. Пишетъ, что чувствуетъ себя очень нехорошо здоровьемъ. Нѣсколько дней и ночей сряду она не спала у его постели. Теперь пишетъ, что больна, потеряла сонъ и ни куска съѣсть не можетъ. Жена исправника и еще одна женщина помогаютъ ей. У ней ничего нѣтъ, кромѣ долговъ въ лавкѣ. Кто-то прислалъ ей три руб. сер. «Нужда руку толкала принять, — пишетъ она,—и приняла... подаваніе».

«Если вы, Александръ Егоровичъ, еще въ тѣхъ мысляхъ, какъ нѣсколько дней тому назадъ, въ Семипалатинскѣ (а я увѣренъ, что у васъ благородное сердце и вы отъ добрыхъ мыслей не отказываетесь изъ-за какой нибудь пустой причины, совершенно не идущей къ дѣлу), то пошлите теперь, съ письмомъ, которое я прилагаю отъ себя къ ней, ту сумму, о которой мы говорили. Но повторяю вамъ, любезнѣйшій Александръ Егоровичъ,—я бо-

лѣе чѣмъ когда въ мысляхъ считать всѣ эти 75 руб. (прежнія) моимъ долгомъ вамъ. Я вамъ отдамъ непремѣнно, но не скоро. Я знаю очень хорошо, что ваше сердце само жаждетъ сдѣлать доброе дѣло... Но разсудите: вы ихъ знакомый недавній, знаете ихъ очень мало, такъ мало, что хотя покойный Ал. Ив. и занялъ у васъ денегъ на поѣздку, но предлагать вамъ ей отъ себя—тяжело. Съ своей стороны я пишу ей въ письмѣ моемъ всю готовность вашу помочь и что безъ васъ я бы ничего не могъ сдѣлать. Пишу это не для того, чтобы вамъ была честь добраго дѣла, или чтобы вамъ были благодарны. Я знаю: вы, какъ христіанинъ, въ томъ не нуждаетесь. Но я-то самъ не хочу, чтобы мнѣ были благодарны, тогда какъ я того не стою, ибо взялъ изъ чужого кармана, и хоть постараюсь отдать вамъ скорѣе,—но взялъ почти-что на неопредѣленный срокъ.

«Если намѣрены послать деньги, то вложите ихъ въ мое письмо ей, которое при семъ прилагаю (незапечатанное). Очень было бы хорошо отъ васъ, еслибъ вы написали ей хоть нѣсколько строкъ. Положимъ, вы были очень мало знакомы. Но онъ остался вамъ долженъ; теперь она знаетъ, что вы дали мнѣ деньги, и потому написать есть случай, даже бы надо было,—какъ вы думаете? Немного, нѣсколько строкъ... Но Боже мой! Я, кажется, васъ учу какъ писать. Повѣрьте мнѣ, Александръ Егоровичъ, я очень хорошо знаю, что вы понимаете, можетъ быть, лучше другого, какъ должно обходиться съ человѣкомъ, котораго пришлось одолжить. Я знаю, что вы съ нимъ удвоите, утроите учтивость; съ человѣкомъ одолженнымъ надо поступать осторожно; онъ мнителенъ; ему такъ и кажется, что небрежностью съ нимъ, фамиллярностью хотятъ его заставить заплатить за одолженіе, ему сдѣланное.

Все это вы знаете такъ же, какъ и я; если Богъ даль намъ смыслъ и благородство, то мы иначе и не можемъ быть. Noblesse oblige, а вы благородны, это я знаю.

«Но я знаю, тоже по вашимъ словамъ, что вашъ кошелекъ не совсѣмъ исправенъ въ эту минуту. И потому, если послать не можете, то и моего письма къ ней не посылайте, а послѣ возвратите мнѣ. Меня же, сдѣлайте мнѣ милость, увѣдомьте съ первой почтой, послали вы письмо или нѣтъ?»

«Онъ васъ вспомнилъ при смерти. Кажется, такъ было, что онъ (его слова) «не смѣетъ и думать предложить вамъ взамѣнъ долга, но проситъ передать вамъ книгу, въ память о себѣ» (Сподвижниковъ Александра, помните это богатое изданіе; онъ получилъ его изъ Петропавловска, гдѣ оставилъ). Вамъ книгу пришлютъ.

«Пишу къ вамъ въ Барнаулъ, по адресу, который вы мнѣ дали, а еще не знаю, въ Барнаулъ ли вы? Кажется, вы написали тогда, что писать въ Барнаулъ надо послѣ 23-го числа. Посылаю на авось, черезъ Крутова. Хорошо ли черезъ Крутова? Напишите мнѣ. Что вы подѣлываете, весело ли вамъ? Кстати, правда ли я слышалъ (впрочемъ, уже не разъ), что m-ше А... выходитъ замужъ?»

«Если будете посылать деньги, не мѣшчайте. Ужъ, конечно, никогда не можетъ быть болѣе затруднительнаго положенія, какъ теперь.

«Не знаю, застанетъ ли васъ это письмо въ Барнаулъ и не пролежитъ ли до вашего приѣзда. Пишу къ Марьѣ Дмитриевнѣ съ этой же почтой другое письмо, которое посылаю завтра, на ура! Посылаю вамъ тоже вашу субботнюю корреспонденцію. Я распечаталъ письма, какъ вы говорили. Если Крутовъ завтра успѣетъ принести и понедѣльничьи письма, то вложу и ихъ.

«До свиданья. Смерть голова болитъ. Я такъ разстроенъ. Перо въ рукахъ не держится. Обнимаю васъ отъ души.

*«Вашъ Достоевскій».*

Читая письмо, я былъ растроганъ такимъ сердечнымъ отношеніемъ *Ө. М.* къ вдовѣ Исаева.

Второе письмо Достоевскаго по этому же поводу, уже на возвратномъ пути, я нашель въ Барнаулѣ, вотъ и оно:

Семипалатинскъ, воскресенье 23 августа 1855 г.

«Дорогой и добрѣйшій мой Александръ Егоровичъ.

«Вотъ и второе письмо пишу вамъ. Желалъ бы очень получить отъ васъ хоть двѣ строчки, что вы вѣрно и сдѣлаете, т. е. пришлете. Желалъ бы тоже пожать вамъ руку. Скучно! А кругомъ все такъ плохо и людей нѣтъ. Я почти никуда не хожу. Знакомиться терпѣть не могу. Право, на каждого новаго человѣка, по моему, надо смотрѣть какъ на врага, съ которымъ придется вступить въ бой. А тамъ его можно раскусить. Что-то вы подѣлываете и весело ли вамъ? Въ Барнаулѣ ли вы? Я рискнулъ и на прошломъ письмѣ поставилъ: въ Барнаулѣ, хотя, помнится, вы говорили, что въ Барнаулѣ будете только послѣ 23-го. Но Богъ знаетъ, въ Барнаулѣ ли вы и теперъ? Теперъ позвольте мнѣ извиниться передъ вами: свои-то письма я вамъ переслалъ и теперъ посылаю, а ваши поручилъ Демчинскому, Пересылать же ихъ мнѣ самому трудно, и по весьма простой причинѣ: толстый пакетъ, застрахованный на почтѣ, будетъ очень дорого стоить, а у меня, съ позволенія сказать, ни полупушки денегъ. И потому пусть пересылаетъ Демчинскій.

«На случай, если вы не получите того письма, которое я отправилъ вамъ недѣлю назадъ, въ Барнаулъ, по адресу, указанному вами (хотя, впрочемъ, трудно не получить), то извѣщаю васъ, что Ал. Ив. Исаевъ умеръ (4 августа), что жена его осталась одна, съ сомнительною помощью, въ отчаяннѣйшій, не зная что дѣлать, и—конечно, безъ денегъ. Сегодня получилъ отъ нея уже 2-е письмо, считая послѣ смерти мужа. Она пишетъ, что ей страшно грустно, что кругомъ послалъ Богъ людей, берушихъ участіе, что ей хоть кой-чѣмъ да помогаютъ, что ей очень грустно, спрашиваетъ, что ей дѣлать? Пишетъ, что стряпчій и исправникъ обнадеживаютъ ее, что Бекманъ можетъ дать пособіе казенное (въ 250 руб. сер.). Если что можно сдѣлать, то далъ бы Богъ. Покамѣстъ хочетъ продавать вещи. Если вы еще не раздумали (какъ мы говорили тогда) о посылкѣ 50 руб., то пошлите теперь. Никогда не было нужнѣе. Только я такъ думаю: пошлите 25, а не 50, такъ какъ у ней съ прежними 25-ю да съ продажей вещей, да, можетъ быть, и съ посторонней помощью будетъ чѣмъ нѣкоторое время прожить. Можно потомъ послать. Пишу это, во-1-хъ, для того, чтобы не обременять васъ, ибо 25 менѣе 50, а вамъ, вѣрно, деньги необходимы. Во-2-хъ, мнѣ ужъ и такъ досталось отъ нея за первые 25. Очень укоряла, говоря, что у меня самого нѣтъ ничего и что я себя не жалѣю. Я отвѣчалъ, что деньги ваши, а не мои, что безъ васъ я ничего бы не сдѣлалъ, чтобъ обо мнѣ не беспокоилась, что дружба имѣетъ свои права и т. д., и что, наконецъ, безъ этихъ денегъ ей пришлось бы потерпѣть ужасное горе,—съ этимъ она, вѣрно, согласится. Я вамъ покажу письмо, когда вы приѣдете. Боже мой! Что это за женщина. Жаль, что вы ее такъ мало знаете.

«Еще одно обстоятельство. Она знаетъ, что ей присланы деньги, подозрѣваетъ, что отъ меня, но письмо лежитъ до сихъ поръ на кузнецкой почтѣ. Почтмейстеръ ни за что не рѣшается отдать, хотя знакомый ей человѣкъ, чтобъ не попасть въ бѣду. Виновать адресъ. Вы правы. Надо было адресовать ей. Адресовано мужу. Онъ умеръ. И потому почтмейстеръ, увѣренный, что пишете вы, просить передать вамъ, чтобъ вы въ кузнецкую почтовую контору прислали казенную или частную довѣренность на передачу письма вдовѣ Исаевой. Ради Христа, добрѣйшій Александръ Егоровичъ, сдѣлайте это и, главное, не медля. Ради Бога. Извѣстна ли вамъ форма этихъ довѣренностей? Я не знаю ея. Вѣроятно, въ Барнаульскомъ почтамтѣ есть форма. Вѣдь, вотъ некстати-то формалистъ кузнецкій почтмейстеръ.

«Что вамъ сказать о себѣ? Мое время тянется вяло. Не совсѣмъ здоровъ; грустно. Изъ новостей ничего не знаю, кромѣ того, что (и, кажется, вѣрно) китайцы сожгли нашу факторію въ Чугучакѣ и консулъ спасся бѣгствомъ. Желалъ бы отъ души, чтобъ вамъ было въ 10,000 разъ веселѣе моего. Если во время вашихъ странствованій попадетъ вамъ хорошая книга, то зацѣпите ее съ собой. До свиданья, Александръ Егоровичъ. Желаю вамъ всего хорошаго, и отъ души. Повторяю вамъ о почтамтѣ. Ради Бога не замедлите. Крѣпко жму вамъ руку.

*Вашъ весь Ѳ. Достоевскій.*

«Я и ее увѣдомилъ, что вмѣсто 50 посылаются 25. Хочетъ васъ благодарить. Напишите ли вы ей что-нибудь?»

Привязанность Достоевскаго къ Исаевой всегда была велика, но теперь, когда она осталась одинока,

Ө. М. считаетъ прямо цѣлью своей жизни попеченіе о ней и ея сиротѣ Пашѣ. Надо знать, что ему хорошо было извѣстно въ то время, что Маріи Дмитріевнѣ нравится въ Кузнецкѣ молодой учитель В., товарищъ ея покойнаго мужа, личность, какъ говорили, совершенно безцвѣтная. Я его не зналъ и никогда не видалъ. Не чуждо, конечно, было Достоевскому и чувство ревности, а потому тѣмъ болѣе нельзя не преклоняться передъ благородствомъ его души: забывая о себѣ, онъ отдавалъ себя всецѣло заботамъ о счастья и спокойствіи Исаевой.

А какъ тягостно было его состояніе духа, удрученное желаніемъ устроить Марію Дмитріевну, видно изъ его писемъ; на примѣръ: вотъ нѣсколько строкъ изъ письма Достоевскаго къ Майкову отъ 18-го января 1856 г. <sup>1)</sup>:

«Я не могъ писать. Одно обстоятельство, одинъ случай, долго медлившій въ моей жизни и, наконецъ, посѣтившій меня, увлекъ и поглотилъ меня совершенно. Я былъ счастливъ, я не могъ работать. Потому грусть и горе посѣтили меня».

Да и всѣ письма ко мнѣ Достоевскаго, послѣ моего отъѣзда изъ Семипалатинска, въ этотъ періодъ его жизни, переполнены тревогой о Маріи Дмитріевнѣ (письма эти помѣщаются ниже). Онъ доходилъ до полного отчаянія. 13-го апрѣля 1856 года онъ пишетъ мнѣ, въ какомъ грустномъ, ужасномъ положеніи онъ находится; что если не получить отъ брата нужныя для поѣздки въ Кузнецкъ 100 рублей, то это доведетъ его до «отчаянія». «Какъ знать, что случится». Надо полагать, онъ намекаетъ на нѣчто

---

<sup>1)</sup> См. Біографія, письма и замѣтки изъ записной книжки Достоевскаго. Сборникъ, составленный Орестомъ Миллеромъ и Н. Н. Страховымъ.

трагическое, а что онъ допускалъ исходъ въ подобныхъ случаяхъ трагическій,—возможно предполагать: не разъ на эту тему бывали у насъ съ нимъ бесѣды, и въ письмѣ ко мнѣ отъ 9-го ноября 1856 года онъ говоритъ: *«Тоска моя въ послѣднее время о васъ возросла до нельзя (я въ послѣднее время сверхъ того и часто боленъ). Я и вообразилъ, что съ вами случилось что-нибудь трагическое, въ родъ того, о чемъ съ вами когда-то говорили»*. Въ письмѣ ко мнѣ отъ 13 апрѣля 1856 года онъ прибавляетъ: *«Не для меня прошу, мой другъ, а для всего, что только теперь есть у меня самага дорогого въ жизни»*.

Въ письмѣ отъ 23-го мая 1856 года онъ пишетъ: *«Мои дѣла ужасно плохи, и я почти въ отчаяніи. Трудно перестрадать, сколько я выстрадалъ»*. Въ письмѣ отъ 14 іюля 1856 г.: *«Я какъ помѣшанный... теперь ужъ поздно»*. Въ письмѣ отъ 21-го іюля: *«Я трепещу, чтобы она не вышла замужъ... Ей-Богу—хоть въ воду, хоть вино начать пить»*.

*«Еслибъ вы знали, какъ я теперь нуждаюсь въ вашемъ сердцѣ. Такъ бы и обнялъ васъ, и можетъ быть легче бы стало. Такъ невыносимо грустно. Я хоть и знаю, что если вы не пріѣдете въ Сибирь, то, конечно, потому, что вамъ гораздо выгоднѣе будетъ остаться въ Россіи, но простите мнѣ мой эгоизмъ. И сплю и вижу, чтобы поскорѣе увидать васъ здѣсь. Вы мнѣ нужны, такъ нужны!..»*

Какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у *Θ. М.*, судите сами, читая его заботливыя хлопоты о своемъ соперникѣ-учителѣ *В.* Въ одномъ письмѣ ко мнѣ, о которомъ упоминаетъ Орестъ Миллеръ въ своемъ сборникѣ и которое затеряно, Достоевскій пишетъ: *«на колѣняхъ» готовъ за него (за учителя В.) просить*. Теперь онъ мнѣ дороже брата родного, не грѣшно просить, онъ того



стоять... Ради Бога сдѣлайте хоть что-нибудь—подумайте, и будьте мнѣ братомъ роднымъ». Много ли найдется такихъ самоотверженныхъ натуръ, забывающихъ себя для счастья другого.

Но вотъ 21 декабря 1856 года судьба, наконецъ, улыбнулась Федору Михайловичу. Въ письмѣ отъ 21 декабря 1856 г. Достоевскій пишетъ мнѣ: «Если не помѣшаетъ одно обстоятельство, то я, до масляницы, женюсь.—Вы знаете, на комъ. Она же любить меня до сихъ поръ... Она сама сказала мнѣ:— да. То, что я писалъ вамъ объ ней лѣтомъ, слишкомъ мало имѣло вліянія на ея привязанность ко мнѣ. Она меня любитъ. Это я знаю навѣрно. Я зналъ это и тогда, когда писалъ вамъ лѣтомъ письмо мое. Она скоро разувѣрилась въ своей новой привязанности... Еще лѣтомъ, по письмамъ ея, я зналъ это. Мнѣ было все открыто. Она никогда не имѣла тайнъ отъ меня. О! еслибъ вы знали, что такое эта женщина»...

Такъ благополучно, наконецъ, завершился романъ Достоевскаго, который захватилъ его всего, стоилъ ему безсонныхъ ночей, тревоги, здоровья и денегъ, но... едва ли далъ ему настоящее счастье.

Теперь, покончивъ съ этимъ романическимъ эпизодомъ въ жизни Достоевскаго, перейду къ послѣднимъ днямъ моего сожительства съ нимъ. Я ѣздилъ, какъ уже выше упоминалъ, осенью въ Барнаулъ, чтобы осмотрѣться, какъ устроиться и куда бѣжать изъ Семипалатинска. Мнѣ предлагали очень хорошее мѣсто въ самомъ Барнаулѣ, по министерству юстиціи. Зазывалъ меня и Гасфортъ въ Омскъ, дорожившій службой у себя петербургской молодежи. Тянуло меня и въ Иркутскъ къ Н. Н. Муравьеву (впослѣдствіи графу Амурскому), который въ это время боролся съ англичанами и французами и водружалъ

русскій стягъ на берегахъ Великаго Океана. Онъ созидалъ тамъ русскому государству всемірный водяной путь и клалъ начало русской колонизаціи. Но, послѣ долгихъ размышленій, я рѣшилъ наконецъ прежде всего побывать въ Петербургѣ, повидать родныхъ и семью свою и тогда предпринять что-нибудь окончательное. И вотъ я обратился къ министру юстиціи графу Панину съ просьбой разрѣшить мнѣ четырехъ-мѣсячный отпускъ.

А бѣдный Ѳ. М. сильно хандрилъ и скучалъ въ одиночествѣ. Вотъ что писалъ онъ мнѣ 23 августа 1855 года:

*«Скучно. Знакомиться терпѣть не могу. Право, на каждаго новаго человека, по моему, надо смотрѣть какъ на врага, съ которымъ придется вступить въ бой. А тамъ его можно раскусить».*

Вернувшись въ Семипалатинскъ изъ Барнаула, я нашелъ Достоевскаго осунувшимся, похудѣвшимъ, грустнымъ, совсѣмъ убитымъ. Съ моимъ пріѣздомъ, Ѳ. М. пріободрился, но мнѣ пришлось его огорчить, сообщивъ ему о моемъ скоромъ отъѣздѣ изъ Семипалатинска.

Послѣдніе дни передъ отъѣздомъ пролетѣли быстро. Въ концѣ декабря я собрался въ путь. Ѳ. М. весь день со мной не разставался, помогалъ мнѣ укладываться... оба мы были въ грустномъ, тревожномъ состояніи. Невольно набѣгала мысль... увидимся ли?!

Мы оба, смѣю думать, въ эти два года тѣсно жили, полюбили другъ друга, привязались, дѣлили радости и горести сибирской жизни, выкладывали, какъ говорится, другъ другу душу. А какъ это дорого въ тяжелыя минуты оторванности отъ всего дорогого, какъ облегчаетъ это—пойметъ всякій, кому случилось быть въ такихъ условіяхъ.

И вотъ, дѣйствительно, по отъѣздѣ моемъ, онъ пишетъ мнѣ рядъ дружескихъ, трогательныхъ писемъ, онъ томится въ одиночествѣ. Въ письмѣ ко мнѣ отъ 21 декабря онъ пишетъ:

«Хочу говорить съ вами попрежнему, какъ въ Семипалатинскѣ, когда вы были для меня всѣмъ! и другомъ и братомъ, когда мы оба дѣлили другъ съ другомъ свои заботы сердечныя».

Жутко мнѣ было покидать его!

Я былъ молодъ, здоровъ, полонъ розовыхъ надеждъ.

А онъ?.. онъ, этотъ Богомъ отмѣченный великій талантъ, волею судьбы оставался здѣсь, въ этихъ дебряхъ, безсрочнымъ солдатомъ, заброшенный, больной, одинокій, безъ опоры, безъ слова сочувствія, лишаясь во мнѣ послѣдняго друга! Отъ всей души было мнѣ жаль его...

Но... насталь и часъ моего отъѣзда.

Уже смеркалось.

Вышелъ Адамъ, забралъ чемоданы, мы обнялись, крѣпко-крѣпко. Расцѣловались и дали слово другъ друга не забывать. Какъ умѣлъ, старался я его ободрить и обнадежить.

Оба мы, какъ и въ первое свиданіе, прослезились.

Усѣлся я въ кибитку, обнялъ въ послѣдній разъ моего бѣднаго друга.

Ямщикъ дернулъ возжи, рванулась впередъ моя тройка... и поскакалъ я.

Я оглянулся еще разъ назадъ: въ вечернемъ мракѣ еле виднѣлась понурая фигура Достоевскаго.

Я мчался... куда?.. на что?..

Не разъ думы мои возвращались въ Семипалатинскъ, въ унылую избушку покинутаго друга.

Но Богъ милостивъ, думалъ я со свойственнымъ молодости оптимизмомъ и мчался дальше и дальше,

по необозримой степи, необозримой и таинственной, какъ ожидавшая судьба насъ обоихъ. Много лѣтъ спустя Достоевскій вспоминаетъ этотъ вечеръ въ письмѣ ко мнѣ изъ Твери отъ 22 сентября 1859 года.

Къ барону А. Е. Врангелю.

Семипалатинскъ, пятница 23 марта 1856 г.

Добрѣйшій, незамѣнимый другъ мой, Александръ Егоровичъ! Гдѣ вы, что съ вами? И не забыли ли вы меня? Съ слѣдующаго понедѣльника начинаю ждать отъ васъ обѣщаннаго письма, съ такимъ нетерпѣніемъ, какъ будто счастья и осуществленія всѣхъ настоящихъ надеждъ моихъ. Подъ этимъ конвертомъ найдете вы незапечатанныя три письма: одно къ брату, другое къ ген.-ад. Эдуарду Ивановичу Тотлебену. Не удивляйтесь! Все расскажу. А теперь приступаю прямо по порядку и начинаю съ себя. Еслибъ вы только знали всю мою тоску, все мое уныніе, почти отчаяніе теперь, въ настоящую минуту, то, право, поняли бы, почему я ожидаю вашего письма, какъ спасенья? Оно должно многое, многое разрѣшить въ судьбѣ моей. Вы обѣщали мнѣ написать въ возможно скоромъ времени по прибытіи въ Петербургъ и увѣдомить о всемъ томъ, чего я надѣюсь и о чемъ вы такъ братски хлопотали за меня цѣлый годъ,—откровенно, не утаивая ничего, не прикрашивая истину и отнюдь не обнадеживая меня шаткими надеждами. Такихъ-то извѣстій жду отъ васъ, какъ жизни. Не показывайте моего письма никому, ради Бога. Увѣдомляю васъ, что дѣла мои въ положеніи чрезвычайномъ. . . . .

Мои надежды, дорогой, безцѣнный и, можетъ быть, единственный другъ мой, вы чистое, честное

сердце—мои надежды.—Выслушайте ихъ. Какъ ни думаю, онѣ мнѣ кажутся довольно ясными. Во 1-хъ) неужели не будетъ никакой милости нынѣшнимъ лѣтомъ, по заключеніи мира или при коронаціи? Вотъ этого-то извѣстія я и ожидаю отъ васъ теперь съ судорожнымъ нетерпѣніемъ. Во 2-хъ) положимъ то еще въ области надеждъ; но неужели нельзя мнѣ перейти изъ военной въ статскую и перейти въ Барнаулъ, если *ничего* не будетъ другаго по манифесту? Вѣдь Дуровъ перешелъ же въ статскую. Въ 3-хъ) долго ли я буду безъ чина? Какъ вы думаете? Неужели будетъ заперта моя карьера? Такіе ли преступники, какъ я, получали все? Не вѣрю я тому! Вѣрю, что черезъ 2 года, если даже теперь ничего не будетъ, я ворочусь въ Россію. Теперь самое важнѣйшее—деньги. 2 вещи, одна статья, другая—романъ будутъ готовы къ сентябрю. Хочу формально просить печатать. Если позволятъ, то я на всю жизнь съ хлѣбомъ. Теперь не такъ, какъ прежде, столько обдѣланнаго, столько обдуманнаго и такая энергія къ письму! Надѣюсь написать романъ (къ сентябрю) получше «Бѣдныхъ людей». Вѣдь если позволятъ печатать (а я не вѣрю, слышите: не вѣрю, чтобъ этого нельзя было выхлопотать), вѣдь это гуль пойдетъ, книга раскупится, доставитъ мнѣ деньги, значеніе, обратитъ на меня вниманіе правительства, да и возвращеніе придетъ скорѣй. А мнѣ что надобно: 2, 3 тысячи въ годъ ассигнаціями. Чтожъ этого мало, что ли, для содержанія нашего? Года черезъ два возвратимся въ Россію, она будетъ жить хорошо; и даже, можетъ быть, наживемъ что-нибудь. Ну, неужели, имѣвъ столько мужества и энергіи въ продолженіе 6-ти лѣтъ для борьбы съ неслыханными страданіями, я не способенъ буду достать столько денегъ, чтобъ прокормить себя и жену. Вздоръ! Вѣдь главное никто не

знаеть ни силъ моихъ, ни степени таланта, а на это-то, главное, я и надѣюсь. Наконецъ, послѣдній случай: ну, положимъ, что еще годъ не позволять печатать? Но я, при первой переменѣ судьбы, напишу къ дядѣ, попрошу у него 1000 р. серебр. для начала на новомъ поприщѣ, не говоря о бракѣ; я увѣренъ что дастъ. Ну, неужели не проживемъ на это годъ! А тамъ дѣла уладятся. Наконецъ, я могу напечатать *incognito* и всетаки взять денегъ. Поймите же, что всѣ эти надежды только въ томъ случаѣ, если нынѣшнее лѣто ничего не будетъ (манифестъ). А что если будетъ? Александръ Егоровичъ, душа моя! Еслибъ вы знали какъ жду письма вашего! Можетъ быть, въ немъ есть положительныя извѣстія. . . . .

Но понимаете, въ какихъ я теперь хлопотахъ! Есть у меня до васъ много просьбъ: ради Христа исполните всѣ. *1-я просьба*: вы найдете тутъ письмо къ *Эд. Ив. Тотлебену*. Вотъ у меня какая идея: съ этимъ человѣкомъ когда-то я былъ знакомъ хорошо; съ братомъ его я другъ съ дѣтства. Еще за нѣсколько дней до ареста моего я случайно встрѣтился съ нимъ и мы такъ привѣтливо подали другъ другу руки. Что же? Онъ, можетъ быть, не забылъ меня. Человѣкъ онъ добрый, простой, съ великодушнымъ сердцемъ (онъ это доказалъ), настоящій герой севастопольскій, достойный именъ Нахимова и Корнилова. Снесите ему мое письмо. Прочтите его сначала хорошенько. Вы, вѣрно, замѣтите по тону моего письма къ нему, что я колебался и не зналъ *какъ* ему писать. Онъ теперь стоитъ такъ высоко, а я кто такой? Захочетъ ли вспомнить меня? На всякій случай я и написалъ такъ. Теперь: отправьтесь къ нему лично (надѣюсь, что онъ въ Петербургѣ) и отдайте ему письмо мое наединѣ. Вы по лицу его тотчасъ увидите,

какъ онъ это принимаетъ. Если дурно, то и дѣлать нечего; въ короткихъ словахъ объяснивъ ему положеніе и замолвивъ словечко, откланяйтесь и уйдите, попрося напередъ у него насчетъ всего этого дѣла секрета. Онъ человѣкъ очень вѣжливый (нѣсколько рыцарскій характеръ), приметъ и отпустить васъ очень вѣжливо, если даже и ничего не скажетъ *удовлетворительнаго*. Если же вы по лицу его увидите, что онъ займется мною и выкажетъ много участія и доброты, о, тогда будьте съ нимъ совершенно откровенны; прямо, отъ сердца войдите въ дѣло; расскажите ему обо мнѣ, и скажите ему, что его *слово* теперь много значить, что онъ могъ бы попросить за меня у Монарха, поручиться (какъ знающій меня) за то, что я буду впередъ хорошимъ гражданиномъ, и вѣрно ему не откажутъ. Нѣсколько разъ по просьбѣ Паскевича Государь прощалъ преступниковъ поляковъ. Тотлебенъ теперь въ такой милости, въ такой любви, что, право, его просьба будетъ стоить Паскевичевой. Вообще же я во многомъ надѣюсь на васъ. Вы скажете горячее слово, я увѣренъ. Ради Бога не откажите мнѣ въ этомъ. Напирайте собственно на то, чтобъ мнѣ оставить военную службу (но главное, если можно чего-нибудь болѣе, т. е. даже полного прощенія, то не упускайте этого изъ виду). Нельзя ли, напимѣръ, уволить меня съ правомъ поступленія въ статскую 14-мъ классомъ и съ возможностью возвратиться въ Россію, а главное печатать? Вообще прочтите внимательно мое письмо къ Тотлебену.

Нельзя ли будетъ пустить въ ходъ стихотвореніе. Я читалъ въ газетахъ, что на обѣдѣ Майковъ говорилъ ему стихи. Не знакомъ ли онъ съ нимъ? Если такъ, то расскажите все Майкову, подъ секретомъ, и попросите, чтобъ и онъ попросилъ за меня Тотлебена и отправился бы къ нему вмѣстѣ съ вами. Не

встрѣтите ли какъ нибудь младшаго брата Тотлебена, Адольфа. Тотъ мнѣ другъ. Скажите ему обо мнѣ, и тотъ бросится на шею къ брату и будетъ умолять его хлопотать за меня. Само собой разумѣется, вы мое письмо къ Тотлебену запечатайте въ конвертъ и и такъ подайте. Мнѣ же какъ можно скорѣе пришлите увѣдомленіе обо всемъ этомъ, хорошо ли, худо ли будетъ. Но вотъ бѣда: чтобъ Lamotte не уѣхаль къ тому времени по своему округу! Онъ поѣдетъ на мѣсяцъ. Я думаю, не уѣдетъ! Кажется, навѣрно такъ. Поторопитесь отвѣчать мнѣ. Боюсь еще одного: хорошо ли, напимѣрь, принялъ письмо мое князь *Одоев*. Не обезкуражены ли вы и, можетъ быть, *не зотя* пойдете къ Тотлебену. Ангель мой! Не оставьте меня, не доводите меня до отчаянія!

*2-я просьба:* Напишите мнѣ подробно и скорѣе: какъ вы нашли моего брата? Въ какихъ онъ мысляхъ обо мнѣ. Прежде это былъ человекъ меня любившій горячо! Онъ плакалъ, прощаясь со мною. Не охладѣлъ ли онъ ко мнѣ! Не измѣнилъ ли характера! Какъ грустно было бы мнѣ это! Не обратился ли онъ весь въ наживу денегъ и забылъ все старое? Не вѣрится мнѣ какъ-то этому. Но опять: чѣмъ же объяснить, что онъ не пишетъ иногда по 7 и по 8 мѣсяцевъ, пишетъ Богъ знаетъ что, даже въ безцензурномъ письмѣ съ Хоментовскимъ не отвѣчалъ ничего на мои вопросы, и такъ мало я вижу прежняго, задушевнаго! Никогда не забуду, что онъ сказалъ Хоментовскому, передавшему ему мою просьбу похлопотать за меня: *что мнѣ лучше оставаться въ Сибири*. Въ декабрѣ мы писали (помните черезъ вашего брата), я просилъ денегъ, прося ихъ выслать на Ламота. Вы знаете, какъ я нуждался! Что жъ ни слуху ни духу! Я понимаю, что онъ можетъ ихъ не имѣть, ибо онъ торгуетъ, но въ крайнихъ случаяхъ спасаютъ



человѣка. Притомъ же недолго я буду у нихъ на шеѣ и все отдамъ. Притомъ же и прошу-то его о деньгахъ, помня его же слова при прощаніи со мною. Въ письмѣ къ нему, здѣсь приложенномъ, прошу его кромѣ тѣхъ 100 руб. выслать мнѣ еще, сколько можетъ больше. Мнѣ нужно это на всякій случай (еслибъ я получилъ свободу, то тотчасъ же поѣхалъ бы въ Кузнецкъ, а безъ денегъ этого сдѣлать нельзя. Кромѣ того, если уѣдетъ она въ Барнауль, уговорю ее принять отъ меня). Я всего вамъ не могу написать, но мнѣ нужны, нужны деньги до зарѣзу; одинъ разъ въ жизни онѣ только такъ бываютъ нужны. 300 р. сереб. спасли бы меня. Но даже 200 и то хорошо, включая сюда тѣ 100, которые уже я просилъ въ декабрѣ. Разумѣется, я это вамъ пишу какъ другу, а вы не вздумайте сами чѣмъ нибудь помочь! Я и то передъ вами *подлецомъ*, долженъ вамъ пропасть! Во всякомъ случаѣ перечтите мое письмо къ брату. Этого, что теперь пишу къ вамъ, ему не показывайте. Но я его отсылаю за поясненіями къ вамъ: расскажите ему все. Что если онѣ, подобно всевозможнымъ дядюшкамъ и роднымъ въ романахъ, сердится *на любовь мою къ ней* и отговариваетъ васъ помогать мнѣ! Но вѣдь мнѣ 35 лѣтъ. Что онѣ думаетъ? Что я его люблю изъ-за денегъ, которыя онѣ мнѣ присылаетъ. Вздорь! У меня гордость есть. Я буду ѣсть одинъ хлѣбъ и погибнемъ я и она, но не надобно мнѣ отъ него денегъ, посланныхъ съ такимъ чувствомъ. Не хочу подаенія! Мнѣ нужно брата, а не денегъ! Мы съ нимъ когда-то и вздорили, но горячо любили другъ друга, и, клянусь вамъ, я бы голову за него отдалъ. У меня дурной характеръ, но когда дойдетъ до дѣла, тогда я стою за друзей. Когда насъ арестовали, то ужъ тутъ, кажется бы, въ 1-ю минуту ужаса, позволительно бы подумать прежде всего о себѣ. Что же? Я ду-

малъ только объ немъ, о томъ, какъ поразить арестъ его семью, какъ поразить его бѣдную жену; я умолялъ 3-го моего брата, котораго арестовали ошибкой, не объяснять ошибки арестовавшимъ какъ можно долѣе и послать денегъ брату, полагая, что у него нѣтъ. Неужели онъ забылъ все старое и разсердится на то, что я прошу много денегъ и когда? Когда для меня самый критическій моментъ всей жизни. Напишите, какъ онъ принялъ васъ, какъ вы его нашли (откровенно напишите его образъ мыслей *обо всемъ этомъ дѣлѣ*) и слушайте только своего золотого сердца, добрѣйшій другъ; да будьте пооткровеннѣе съ Майковымъ на мой счетъ. Это превосходный человекъ и меня любитъ. Разумѣется, просите держать все въ секретѣ. *3-я просьба*. Ради Бога поймите меня, помогайте мнѣ, не думая, что я чѣмъ нибудь могу повредить своей карьерѣ моею любовью къ ней... Я увѣренъ, что могу прокормить семью. Я буду работать, писать. Вѣдь если не будетъ теперь никакихъ даже милостей, всетаки можно будетъ перейти въ статскую, взять 14-й классъ поскорѣе, получать жалованіе, а главное, я могу печатать, даже *incognito* печатать. Буду съ деньгами! Наконецъ, вѣдь это все не сейчасъ, а къ тому сроку дѣло уладится. . . . .

Наконецъ: ради Христа увѣдомьте меня обо всемъ ходѣ дѣлъ моихъ какъ можно подробнѣе и поскорѣе; въ этомъ полагаюсь совершенно на васъ. Уговоривайте брата помогать мнѣ, дѣйствуйте передъ нимъ какъ ходатай за меня. Внушите ему, что я только осчастливилю себя бракомъ съ нею, что намъ не такъ много надо, чтобъ жить, и что у меня достанетъ энергій и силы, чтобъ прокормить семью. Что если позволять писать и печатать, тогда я спасенъ, что я не буду *имъ никому въ тягость*, не буду просить ихъ помогать себѣ, и главное: не сейчасъ же я женюсь,

а выжду чего нибудь обезпеченнаго. Она же съ радостію подождетъ, только бы имѣла надежду на вѣрное устройство судьбы моей. Скажите тоже, что мнѣ 35 лѣтъ и что во мнѣ благоразумія хватить на 10-хъ. Прощайте, дорогой мой, голубчикъ мой!

Да, забылъ! Ради Христа поговорите съ братомъ о денежныхъ дѣлахъ моихъ. Уговорите его помочь мнѣ послѣдній разъ. *Поймите*, въ какомъ я положеніи. Не оставляйте меня. Вѣдь такія обстоятельства какъ мои только разъ въ жизни бываютъ. Когда же и выручатъ друзей, какъ не въ такое время. Обнимаю, цалую васъ. Что ваши дѣла? Вѣдь я ничего-то объ васъ не знаю! Жду съ нетерпѣніемъ письма отъ васъ. Съ сожалѣніемъ кончаю письмо; теперь опять я одинъ съ моими сомнѣніями и отчаяніемъ.

Семипалатинскъ, 13 апрѣля 1856 г.

Спѣшу вамъ отвѣтить на ваше милое, добрѣйшее письмо, добрый другъ мой, которое вы мнѣ написали 12-го марта и которымъ я былъ обрадованъ третьяго дня. А я такъ нетерпѣливо ждалъ отъ васъ извѣстія. Но въ послѣднее время и надѣяться пересталъ на скорое полученіе, ибо Демчинскій, пріѣхавшій недѣли 2 тому изъ Россіи, говорилъ, что вы промѣшкали въ Казани, а потомъ сюда писали изъ Москвы (Спиридонову), что вы только день или два пробыли въ Москвѣ и отправились уже 9-го марта въ Петербургъ. По всѣмъ этимъ слухамъ я и рассчитывалъ, что получу, самое раннее, на Святой, и вотъ получилъ раньше! Вы не повѣрите, *какъ* вы меня обрадовали и какъ мнѣ *нужно* было ваше письмо. А въ томъ, что я его получу отъ *васъ*, въ увѣренности, что вы меня не забудете и будете *стараться* обо мнѣ—въ этомъ у меня и мысли не было усомниться, подумать, что вы меня забудете.

Я знаю васъ, добрѣйшее, благороднѣйшее сердце, и не даромъ же я васъ такъ любилъ. Вы не повѣрите, въ какомъ положеніи я былъ все это послѣднее время.. Но объ этомъ потомъ, а для порядка начну сначала съ вашего письма, добрѣйшій мой Александръ Егоровичъ.

Пишите вы, добрѣйшій и незабвенный другъ мой, что въ іюлѣ разсчитываете быть въ Сибири и проѣхать черезъ Семипалатинскъ. Вы не повѣрите, какъ я обрадовался, что вы не перемѣнили своихъ намѣреній и хотите возвратиться въ Сибирь, а къ зимѣ даже располагаете устроиться въ Барнаулѣ. Я буду васъ ждать, какъ солнца. Но, другъ мой, правда ли тѣ слухи, которые здѣсь распространились о васъ: именно, что будто бы корпусный командиръ назначилъ васъ къ себѣ, въ Омскъ, чиновникомъ по особымъ порученіямъ (разсказываютъ, что онъ былъ очень удивленъ, что вы не проѣхали черезъ Омскъ), именно тѣмъ, чѣмъ вы не хотѣли быть. Тогда, пожалуй, чтобъ избѣгнуть этого, и если не будетъ уже возможности перемѣнить, вы останетесь въ Петербургѣ, а не поѣдете сюда! Впрочемъ, вы теперь уже объ этомъ знаете. Вамъ вѣрно написали отсюда. Ради Бога, другъ мой, ради Бога увѣдомьте *навѣрно*, если можно. Приѣдете ли вы или нѣтъ, когда, куда, чѣмъ приѣдете сюда и *какъ* надѣяетесь устроить свои дѣла въ Петербургѣ. Кромѣ того, что я хочу васъ видѣть, вы мнѣ теперь необходимы, какъ воздухъ, да и всегда мнѣ необходимы были и я это помню. Вы не повѣрите, какъ я обрадовался тому, что мой братъ вамъ понравился и что вы, кажется, сойдетесь съ нимъ. Сдѣлайте это ради Бога; не раскаетесь. Какъ я радъ, что онъ все тотъ же, и любить меня. Много я вамъ написалъ о моихъ сомнѣніяхъ даже на его счетъ въ прошломъ письмѣ. Но еслибъ вы знали,

въ какомъ грустномъ, въ какомъ ужасномъ я былъ положеніи и какъ я раскаяваюсь въ моихъ предположеніяхъ насчетъ брата. Скажите ему, что я его цалую; не пишу ему потому, что и вамъ-то едва успѣваю отвѣтить. Напишу ему скоро письмо официальное, въ которомъ будетъ: *живъ, здоровъ* и только. Что написать въ официальномъ письмѣ, кромѣ этого? Но въ слѣдующемъ письмѣ къ вамъ напишу и ему. Въ прошломъ письмѣ я просилъ у него еще 100 руб. Не для меня, мой другъ, а для всего, что только теперь есть у меня самага дорогого въ жизни, и, главное, *на всякій случай*. Если только онъ можетъ исполнить мою просьбу, пусть исполнить и Господь его наградить за это, а онъ меня, можетъ быть, этимъ осчастливить и избавить отъ отчаянія. Какъ знать, что случится. Къ тому же, если позволять печатать, тогда я уже буду съ своими деньгами и начну новую жизнь и не буду его беспокоить, что у меня всегда было на сердцѣ, ибо братъ самъ добываетъ себѣ трудомъ кусокъ хлѣба. Писалъ я вамъ, другъ мой, сходить къ Тотлебену и отдать мое письмо. Теперь вы уже, можетъ быть, это сдѣлали. Вы не повѣрите, съ какимъ замираніемъ сердца буду ждать на этотъ счетъ вашего отвѣта. Заранѣе благодарю васъ за все, что вы для меня дѣлаете, только, ради Христа, не обнадеживайте понапрасну меня, изъ желанія меня успокоить. Факты, одни факты напишите мнѣ. Просилъ и васъ и брата написать къ Марьѣ Дмитриевнѣ, и если возможно поскорѣе. Повторяю мою просьбу; ради Бога сдѣлайте это. Вы пишете, что готовится что-то изъ милостей для насъ, но что именно—это держать въ секретѣ. Сдѣлайте милость, другъ мой безцѣнный, нельзя ли хоть что-нибудь узнать заранѣе относительно меня. Это мнѣ нужно, нужно. Если что узнаете, сообщите немедленно. О

Кавказъ я и не думаю. О Барнаульскомъ батальонѣ тоже. *Теперь* все это пустяки. Вы пишете, что всѣ любятъ Царя. Я самъ обожаю его. Производство мое мнѣ лично очень важно, сознаюсь. Но если ждать офицерства, то это ждать еще долго, а мнѣ хоть что бынибудь теперь, при коронаціи. Самое лучшее и здоровое, конечно, хлопотать о позволеніи печатать. Я думаю переслать вамъ въ скоромъ времени стихи на коронацію, частнымъ образомъ. Но пойдутъ они тоже и официальнымъ путемъ. Вы вѣрно встрѣтитесь съ Гасфордомъ. Онъ вѣдь ѣдетъ на коронацію. Не поговорите ли вы ему, чтобы онъ самъ представилъ мои стихи? Нельзя ли будетъ это сдѣлать? Увѣдомьте тоже меня, до котораго времени можно будетъ писать къ вамъ, ибо если вы оставите Петербургъ, то нехорошо будетъ, если письма пропадутъ. Я говорилъ вамъ о статьѣ объ Россіи. Но это выходилъ чисто политическій памфлетъ. Изъ статьи моей я слова не захотѣлъ бы выкинуть. Но врядъ ли позволили бы мнѣ начать мое печатаніе съ памфлета, не смотря на самыя патріотическія идеи. А выходило дѣльно и я былъ доволенъ. Сильно занимала меня статья эта! Но я бросилъ ее. Ну, какъ откажутъ напечатать! Къ чему же пропадать моимъ трудамъ? А теперь мнѣ время дорого, чтобъ тратить его понапрасну, изъ удовольствія писать для себя. Да и политическія обстоятельства измѣнились. И потому я прислалъ за другую статью: «Письма объ искусствѣ». Е. В. Марія Николаевна—президентъ академіи. Хочу просить позволенія посвятить статью мою ей и напечатать безъ имени. Статья моя—плодъ десятилѣтнихъ обдумываній. Всю ее до послѣдняго слова я обдумалъ еще въ Омскѣ. Будетъ много оригинальнаго, горячаго. За изложеніе я ручаюсь. Можетъ быть во многомъ со мной будутъ несогласны многіе. Но я въ свои идеи

вѣрю и того довольно. Статью хочу просить прочесть предварительно Ап. Майкова. Въ нѣкоторыхъ главахъ цѣликомъ будутъ страницы изъ памфлета. Это собственно о значеніи Христіанства въ искусствѣ. Только дѣло въ томъ, гдѣ ее помѣстить? Напечатать отдѣльно—купить 100 человѣкъ, ибо это не романъ. Въ журналахъ дадутъ деньги. Но «Современникъ» былъ всегда мнѣ враждебенъ, «Москвитянинъ» тоже. «Русскій Вѣстникъ» напечаталъ вступленіе къ разбору Пушкина Каткова, гдѣ идеи совершенно противоположны моимъ. Остаются однѣ «Отечеств. Записки», но что дѣлается съ «Отеч. Записками» теперь—я не знаю. И потому поговорите съ Майковымъ и братомъ, только такъ, въ видѣ проекта, возможно ли будетъ гдѣ-нибудь напечатать за деньги, и сообщите мнѣ. А главное, сажу за романомъ и это мое наслажденіе. Только этимъ я могу составить себѣ имя и обратить на себя вниманіе. Но, конечно, лучше начать прежде серьезной статьей (объ искусствѣ) и на нее просить разрѣшенія печатать; ибо на романъ до сихъ поръ смотрятъ какъ на пустяки. Такъ мнѣ кажется.—Если будетъ возможность говорить и хлопотать о переводѣ моемъ въ статскую службу, *именно въ Барнауль*, то ради Бога не оставляйте безъ вниманія. Если возможно говорить объ этомъ съ Гасфортомъ, то ради Бога поговорите, а если можно не только говорить, но и дѣлать, то не упускайте случая и похлопочите о моемъ переводѣ въ Барнауль въ статскую службу. Это самый *близкій* и самый *вѣрный* шагъ для меня. Впрочемъ согласенъ съ вами совершенно, что надо ждать коронаціи. Господь знаетъ, можетъ быть, и *больше* будетъ, чѣмъ даже и мы ожидаемъ. Время близко, но Богъ знаетъ, сколько можетъ воды утечь въ это время. Я говорю про мои обстоятельства, которыя вы знаете.

Семипалатинскъ, среда 26 мая 1856 г.

«Дорогой, добрѣйшій мой Александръ Егоровичъ, спѣшу (въ полномъ смыслѣ слова *спѣшу*) отвѣчать вамъ. И потому не взывайте, если письмо написано наскоро и безалаберно. Послѣ все объясню. Во-1-хъ, благодарю васъ несказанно за все то, что вы сдѣлали, за всѣ старанія ваши за меня. Вы мой второй братъ, дорогой и возлюбленный! Тотлебенъ благороднѣйшая душа, я въ этомъ былъ увѣренъ всегда. Это рыцарская душа, возвышенная и великодушная. Братъ его такого же характера. Ради Христа *скажите Эрнсту*, что я безъ слезъ не могъ читать вашего письма и я не знаю, есть ли слова, чтобы выразить мои чувства къ нему. Адольфа расцелуйте за меня. Что-то будетъ! Дѣло, я самъ понимаю, на хорошей дорогѣ. Дай Богъ счастья великодушному Монарху!

Итакъ, все справедливо, что рассказывали постоянно о горячей къ нему любви всѣхъ!

Какъ это меня радуеть! Больше вѣры, больше единства, а если любовь къ тому,—то все сдѣлано.— Каково же кому нибудь оставаться назади? Не примкнуть къ общему движенію, не принести свою лепту!? О, дай Богъ, чтобъ моя судьба поскорѣе устроилась.—Вы мнѣ пишете—прислать что-нибудь. Посылаю стихи на *коронацію* и *заключеніе мира*. Хороши ли, дурны ли, но я послалъ здѣсь по начальству, съ просьбою позволить *напечатать* (т. е. объ этой просьбѣ Петръ Михайловъ только доложилъ Гасфорту). Просить же официально (прошеніемъ) позволенія печатать, не представивъ въ то же время сочиненія, по-моему неловко. Потому я началъ съ стихотворенія. Прочтите его, перепишите и поставьте, чтобъ оно дошло къ Монарху. Но вотъ въ чемъ дѣло: миновать Гасфорта нельзя. Вѣдь, можетъ



быть, придется здѣсь служить. Гасфортъ 10-го іюня ѣдетъ въ Петербургъ. Конечно, онъ явится къ Царю. Стихотвореніе мое онъ повезетъ, но надобно, чтобъ онъ былъ предупрежденъ и, главное, получше настроенъ въ мою пользу. Будете ли вы въ Петербургѣ при пріѣздѣ Гасфорта? Встрѣтитесь ли съ нимъ? Еслибъ встрѣтились, то прошу васъ не говорить ему о Тотлебенѣ. Онъ горячѣе примется, если успѣхъ дѣла отнесутъ лично къ нему. Но превосходно было бы, еслибъ Тотлебенъ, встрѣтивъ его гдѣ-нибудь, или даже (но на такую милость отъ Тотлебена я и надѣяться не смѣю) *сдѣлавъ самъ визитъ* Гасфарту (что Гасфарту страшно польститъ), попросилъ бы его представить мое стихотвореніе Царю съ просьбой печатать и замолвить за меня доброе слово, если его будутъ обо мнѣ спрашивать, т. е. достоинъ ли къ производству. Не правда ли, что тогда дѣло обдѣлалось бы хорошо! Итакъ, другъ мой, будете ли вы или нѣтъ при Гасфортѣ въ Петербургѣ, сообщите эту мысль Тотлебену осторожно (ибо я много прошу) и если увидите, что онъ это одобряетъ, объясните ему все.—Вы не повѣрите, какъ вы меня вдохновили этими извѣстіями. Жду не дождусь васъ увидѣть! О! кабы поскорѣе! Какъ много надо переговорить! . . . . . О, дай Богъ вамъ счастья, а не тѣхъ ужасовъ, которые иногда могутъ быть,—говорю по опыту! Но не засидитесь въ Петербургѣ. Пріѣзжайте, ради Бога, пріѣзжайте.—Брату скажите, что я обнимаю его, прошу у него прощенія за всѣ горести, которыя я нанесъ ему; на колѣняхъ передъ нимъ.—Дѣла мои ужасно плохи, и я почти въ отчаяніи. Трудно пере-страдать, сколько я выстрадалъ! Но не буду утомлять васъ, тѣмъ болѣе, что всего передать *не могу*, и такимъ образомъ, я одинъ совершенно съ своей безвыходной тоской. О! Кабы вы были здѣсь, при васъ

того не было бы!... . . . . . О Пашѣ она просить меня хлопотать въ Сибирскій корпусъ, просить и васъ похлопотать у Гасфорта, не примуть ли даже и въ этомъ году въ малолѣтнее отдѣленіе (Пашѣ девятый годъ)? Я обѣщался хлопотать безкорыстно и потому—умоляю,—что можете—сдѣлайте. Но умоляю, тоже ради Бога, уговорите брата, чтобъ онъ справился подробно и прилежно, нельзя ли Пашу помѣстить въ Павловск. корпусъ, хоть не теперь, такъ и въ будущемъ году? Если можно, то чтобъ братъ написалъ Марьѣ Дмитріевнѣ, въ возможно скоромъ времени, всѣ подробности, обнадежилъ бы ее совершенно, а вы, Ал. Егор., ради Христа и для меня, обнадежьте ее, что можетъ быть хорошій случай доставки Паши въ Петербургъ, что ей не надо и съ мѣста сдвигаться, чтобъ отправлять сына въ Петербургъ, что другіе довезуть, а въ Петербургѣ Паша найдетъ друзей. Увѣрьте ее, успокойте ее! Особенно умоляю въ томъ брата...

Семипалатинскъ, 14 іюля 1856 г.

Слѣшу вамъ отвѣчать съ первой же почтой, добрый мой, безцѣнный мой Александръ Егоровичъ. А долго же я отъ васъ ждалъ хоть одной строчки! Не упрекаю васъ; вы всегда мнѣ братья были; я это чувствую и знаю. Но еслибъ вы знали какъ мнѣ нужно было ваше дружеское участіе, ваша память обо мнѣ во все это время. Тысячу разъ собирался писать къ вамъ самъ, но все боялся, что вы тѣмъ временемъ выѣдете къ намъ, и письмо мое васъ не застанетъ. Впрочемъ, чтожъ бы я вамъ сталъ писать? Не упишешь ничего, *что надобно*, на письмѣ. И теперь же тоже.—Благодарю васъ еще въ 100-й разъ за всѣ ваши старанія обо мнѣ. Поблагодарите обоихъ Тот-

лебенювъ. Вы не можете представить себѣ, съ какимъ восторгомъ я гляжу на поведеніе такихъ душъ, какъ вы и они оба, относительно меня! Что вамъ я сдѣлалъ, что вы меня такъ любите? Что я имъ сдѣлалъ, благороднымъ душамъ. Благослови васъ всѣхъ Господь! И такъ теперь я могу надѣяться крѣпко, но... уже поздно! . . . . Отъ васъ думалъ хоть строку получить (никого-то нѣтъ со мною), и вы молчите; а теперь Господь знаетъ увидимся или нѣтъ! Ради Бога не оставляйте меня! Что стоитъ мнѣ черкнуть два-три слова? не правда ли? чѣмъ это все кончится, не знаю!—Ради Бога пишите какъ можно скорѣе о своей судьбѣ! Приѣдете или нѣтъ? Я ничего вамъ не смѣю совѣтовать; сами знаете. Слышалъ отъ Демчинскаго, что Андр. Родіон. говорилъ ему, будто бы хочеть зимой за границу. Такъ ли. Что тогда вы?—О Пашѣ просилъ Слуцкаго и другихъ хлопотать въ Омскѣ, а еще о пособіи (отецъ тоже ее не забываетъ и помогаетъ). Пособіе двинулось впередъ. Слуцкій такъ обязателенъ, отвѣтилъ мнѣ до невѣроятности вѣжливо. Сдѣлалъ все, что могъ. Но о Пашѣ пишетъ, что нѣтъ вакансіи и что только одинъ Государь можетъ утвердить сверхштатнаго, а въ кандидаты запишутъ. Похлопочите у Гасфорта,—ради Бога, можетъ быть еще есть надежда принять его на нынѣшній годъ.

Есть еще къ вамъ одна самая экстренная просьба. Если можете—сдѣлайте, а если нѣтъ—суда нѣтъ. Другъ мой, если произведутъ да и вообще въ августѣ мнѣ нужны деньги, очень, крайне, хоть зарѣжъся. Вы не повѣрите, сколько мнѣ стоила моя экспедиція, а я рискну на другую. У меня долгу до 1,000 руб. сер. Живу я бѣдно, но расходы экстренные. Мнѣ, чувствую это (на всякій случай) нужны, очень нужны будутъ деньги. Теперь именно нужны до зарѣза.

Молите брата (котораго прошу расцаловать безъ конца), чтобъ выслалъ мнѣ, если можетъ, скорѣе. Васъ же прошу вотъ что: если есть у васъ дѣйстви-тельно надежда и убѣжденіе, что мнѣ позволять печатать (но только въ этомъ случаѣ), то ради Бога займите (ибо у васъ самихъ вѣрно нѣтъ) 300 руб. сер. до генваря. Ужъ если позволять печатать, то я и не такія деньги отдать могу въ генварѣ. Я васъ не окомпрометирую. Только если есть у васъ у кого занять. Но если вамъ очень тяжело—не хлопочите, ибо тяжко занимать. Если займете, то высылайте тотчасъ—но на Ламота. Ради Бога простите за подобныя просьбы. Во 1-хъ, я вашихъ обстоятельствъ не знаю въ этомъ родѣ, а во 2-хъ, я самъ какъ помѣшанный. Ради Бога не подумайте чего-нибудь. Прощайте, скоро еще что-нибудь напишу. Ради Бога пишите скорѣе обо всемъ. Не забывайте меня. Обнимаю васъ безсчетно вмѣстѣ съ братомъ. Другимъ поклонъ. Не скрывайте отъ меня ничего.

Семипалатинскъ, 21 іюля 1856 г.

Вотъ и еще къ вамъ письмо, добрѣйшій, безцѣннѣйшій Ал. Ег. Не знаю только, какъ дойдетъ оно до васъ,—застанетъ ли васъ въ Петербургѣ? Это письмо—просьба. Другъ мой, добрый другъ мой, я васъ буквально осыпаю просьбами. Знаю, что дурно дѣлаю,—но на васъ только и надежда! Притомъ же я такъ вѣрю въ васъ, вспоминая ваше чистое, прекрасное сердце! Не потяготитесь просьбами отъ меня. А я бы радъ былъ за васъ хоть въ воду. Вотъ въ чемъ дѣло. Я вамъ писалъ, что просилъ Слуцкаго похлопотать за Пашу и ждалъ; Пушкина тоже просилъ и что отъ обоихъ получилъ отвѣты. На этотъ годъ надежда плохая. Я просилъ васъ сказать объ этомъ Гасфорту.

Но теперь получилъ еще письмо отъ Слуцкаго, котораго я тоже просилъ подвинуть впередъ дѣло Марьи Дмитріевны о назначеніи ей единовременнаго пособія, такъ какъ она имѣеть право на него по закону по смерти мужа, именно въ 285 руб. сер. Слуцкій дѣйствительно подвинулъ дѣло, совсѣмъ залежавшееся. На ту бѣду уѣхалъ Гасфортъ. Главное управленіе, за отсутствіемъ его, представило это дѣло министру внутреннихъ дѣлъ (отъ 7-го іюля 1856, за № 972). Теперь: это представленіе о назначеніи ей пособія можетъ *засѣсть* въ Петербургѣ, особенно при теперешнихъ обстоятельствахъ, и Богъ знаетъ сколько можетъ пройти времени, прежде чѣмъ рѣшатъ его. Да кромѣ того еще рѣшатъ ли въ ея пользу? Ну, какъ откажутъ! Другъ мой, добрый мой ангель! Если вы все еще продолжаете любить меня, безпрерывно осаждающаго васъ самыми разнообразными просьбами, то помогите, если можно, и въ этомъ дѣлѣ. Ради Бога справьтесь объ участи этого *представленія*; вѣрно у васъ найдутся знакомые, которые вамъ помогутъ въ этомъ и люди съ вліяніемъ, съ вѣсомъ. Нельзя ли такъ пошевелить это дѣло, чтобъ оно не залежалось и разрѣшилось въ пользу Марьи Дмитріевны. Ангель мой! Не полѣнитесь, сдѣлайте это, ради Христа. Подумайте: въ ея положеніи такая сумма цѣлый капиталъ, а въ *теперешнемъ* положеніи ея—спасенье, единственный выходъ. Я трепещу, чтобъ она, не дождавшись этихъ денегъ, не вышла замужъ. Тогда пожалуй (какъ я полагаю) ей еще откажутъ въ немъ. У него ничего нѣтъ, у ней тоже. Бракъ потребуетъ издержекъ, отъ которыхъ они оба года два не поправятся! И вотъ опять для нея бѣдность, опять страданіе. Къ отцу ей тогда уже обращаться нельзя съ просьбами о помощи: ибо она будетъ замужемъ. За что же она, бѣдная,

будеть страдать и вѣчно страдать? И потому ради Бога исполните мою просьбу; исполните тоже (хоть по возможности) и тѣ просьбы, которыя я вамъ настрочилъ въ прошломъ письмѣ. Вы не знаете, до какой степени вы меня осчастливите!

Пишу къ вамъ, а самъ еще не знаю, гдѣ и когда получите вы это письмо? Если вы сюда поѣдете, то оно уже васъ не застанетъ. Если вы тамъ остаетесь, то гдѣ именно будете? Ради Бога, увѣдомьте меня, получили ли вы это письмо? Да не лѣнитесь мнѣ писать, добрый другъ мой! Хоть нѣсколько, только нѣсколько строчекъ! Еслибъ вы знали, какъ я теперь нуждаюсь въ вашемъ сердцѣ! Такъ бы и обнялъ васъ и, можетъ быть, легче бы мнѣ стало. Такъ невыносимо грустно. Я хоть и знаю, что если вы не пріѣдете въ Сибирь, то, конечно, потому, что вамъ гораздо выгоднѣе будетъ остаться въ Россіи, но простите мнѣ мой эгоизмъ: и сплю и вижу, чтобъ поскорѣе увидать васъ здѣсь. Вы мнѣ нужны, такъ нужны! Простите, что пишу на такомъ клочкѣ бумаги. Во-1-хъ, спѣшу, а во-2-хъ, въ настоящее время почти ни на что неспособенъ и такъ на все тяжело смотрю!

Обнимите безцѣннаго моего брата и передайте ему, чтобы простилъ меня за мое молчаніе. Послѣ напишу, а теперь ей-Богу хоть въ воду! Хоть вино начать пить! Обнимите его за меня и скажите ему, что я его безконечно люблю. Видѣли ли вы Х. и въ чемъ дѣло? Боюсь, что вы теперь еще больше замолчите. Напишите мнѣ ради Создателя все. Если дѣйствительно есть надежда произвести меня въ офицеры, то нельзя ли устроить, чтобы въ Барнаулъ? Тотлебенамъ скажите мою безконечную благодарность, мою любовь къ нимъ безъ конца! Дай вамъ Богъ, добрый, безцѣнный другъ мой, всякаго счастья и не дай вамъ Богъ испытать то, что я испытываю.

Подожду вашего отвѣта и напишу вамъ (обѣщаюсь) письмо позанимательнѣе и подробнѣе. Поклонитесь всѣмъ, особенно Якушкину, если увидите.—Вы спрашивали, женился ли Гавриловъ?—Нѣтъ и, кажется, теперь и не думаетъ. Была прекомическая исторія. Я съ нимъ недавно близко сошелся. Демчинскій такой же какъ всегда, со мной очень хорошъ и много услугъ оказываетъ. Прощайте, безцѣнный другъ мой! Неужели вы не будете на коронаціи? Не забудьте моей просьбы о деньгахъ. Всѣ планы мои рушатся безъ нихъ! Повторяю: хоть въ воду! Кромѣ того самъ терплю нужду. Прощайте, прощайте! Цалую васъ безсчетно.

*Вашъ Достоевскій.*

Семипалатинскъ, 9 ноября 1856 г.

Я получилъ письмо ваше, безцѣнный другъ мой Александръ Егоровичъ, еще 30-го октября и не отвѣчалъ съ первой почтой по особымъ обстоятельствамъ. У меня въ головѣ была тогда поѣздка въ Б—ль и я хотѣлъ вамъ написать оттуда, увидавъ Х., и, конечно, сдѣлавъ для васъ письмо занимательнѣе. Но поѣздка моя до сихъ поръ еще не состоялась, но почти увѣренъ, что состоится на будущей недѣлѣ, если, какъ обѣщано, мнѣ пришлютъ денегъ. Тогда я вамъ напишу изъ Б—ла и письма этого ждите въ скоромъ очень времени. А это письмо, которое теперь пишу, не считайте и за письмо, а только за нѣсколько строкъ, чтобы поскорѣе хоть что-нибудь, отвѣтить вамъ. Еслибъ вы были здѣсь, я бы и въ недѣлю не передалъ вамъ, незабвенный другъ мой, всего, о чемъ хотѣлъ бы говорить съ вами.

Вы пишете, что я кромѣ безконечно-милосердаго Монарха нашего долженъ благодарить Тотлебена и Е. В. Принца Ольденбургскаго. Благодарю

ихъ отъ горячаго сердца и, если увидите Тотлебена, скажите ему, что у меня нѣтъ словъ, чтобы выразить мою благодарность ему. Всю жизнь буду помнить о благородномъ поступкѣ его со мною. Но мое сердце справедливо: еслибъ не было васъ, дорогой другъ мой, еслибъ вы не старались за меня, я увѣренъ, мое дѣло не подвинулось бы такъ скоро. Богъ васъ послалъ мнѣ. Благодарю васъ и обнимаю крѣпко, крѣпко. Вы знаете, что я васъ люблю.

Теперь скажу вамъ въ короткихъ словахъ (хотя и много хотѣлъ бы говорить объ этомъ, но всего не упишешь):—вы никогда не поймете, безцѣнный мой, въ какую грусть, въ какую тоску ввергнули вы меня вашимъ долгимъ молчаніемъ! Другъ мой, я понимаю нравственное состояніе духа, въ которомъ не хочется братья за перо, чтобъ написать даже тому, который способенъ понять васъ,—ко мнѣ, однимъ словомъ, съ которымъ вы почти не имѣли тайнъ.

.....  
Здѣсь было извѣстно, что вы уже назначены въ экспедицію, но что вы еще въ П—гѣ,—я былъ въ томъ увѣренъ. Почему же онъ не пишетъ?—вотъ вопросъ, который я задавалъ себѣ каждый день. Но клянусь вамъ, что не смотря ни на что, я ни разу не усумнился въ дружбѣ вашей, не подумалъ, что вы забыли меня. Вы доказали это, пославъ мнѣ свой портретъ (который я еще не получилъ). Но, другъ мой, я понимаю эту тревогу духа, когда не хочется разбередить боль въ сердцѣ, говоря о ней съ другимъ. Но неужели вы и двухъ строкъ не могли написать мнѣ? Другая причина, которую вы выставляете, объясняя мнѣ свое молчаніе (именно: что *не исполнили ничего изъ просьбъ моихъ*)—для меня совсѣмъ не понятна. Я попросилъ у васъ денегъ, какъ у друга, какъ у брата, въ то время, въ тѣхъ обстоятельствахъ, когда или петля остается,



или рѣшительный поступокъ. Я и рѣшился просить у васъ, зная, что могу обременить васъ моею просьбою, но еслибъ вы были въ обстоятельствахъ, подобныхъ моимъ, и потребовали для васъ рискнуть чѣмъ-нибудь крайнимъ, я бы это сдѣлалъ. Чувствуя это по себѣ, я безъ угрызенія совѣсти рѣшился васъ беспокоить (еслибъ я не перехватилъ здѣсь и не надѣлалъ долговъ, я бы пропалъ)—такъ мнѣ было нужно, не для существованія моего, а для моихъ *намѣреній*. Вы знаете изъ прежнихъ писемъ моихъ, въ какомъ состоянїи духа я находился. Какъ я не сошелъ еще съ ума до сихъ поръ! Но если, добрѣйшій Александръ Егоровичъ, если у васъ не было у самихъ, чтобъ помочь мнѣ (что безъ сомнѣнїя такъ, потому что вы всегда не оставляли меня)—скажите ради Бога, отчего было просто не написать: *нѣтъ* или *не могу*? (если невозможность удовлетворить меня была одною изъ причинъ вашего молчанїя). Неужели же я не способенъ былъ понять, что, конечно, *невозможность* заставила васъ отказать мнѣ, а не недостатокъ дружбы? И какое бы я право имѣлъ досадовать на васъ за неприсылку (я и безъ того кругомъ вамъ должный,—вамъ, который былъ и есть для меня какъ любимый, дорогой мнѣ братъ мой? Потому что послѣ всего, что вы для меня сдѣлали, вы позволите мнѣ называть васъ такъ). Наконецъ, тоска моя въ послѣднее время о васъ возросла донельзя (я въ послѣднее время сверхъ того былъ часто боленъ). Я и вообразилъ, что съ вами случилось что-нибудь трагическое, въ родѣ того, о чемъ мы съ вами когда-то говорили. И никого-то не было, чтобы хоть малѣйшую вѣсточку подать о васъ. Наконецъ, пришло ваше письмо и разрѣшило многія недоразумѣнїя, многія, но не всѣ . . . . .

Другъ мой, вы спрашиваете меня, чего я желаю, о чемъ просить? И говорите тоже, что меня могутъ перевести въ Россію. Но, другъ мой, милость нашего ангела-Царя—безконечна, и я знаю, что я даже и не служа, черезъ годъ, черезъ два и безъ того буду возвращенъ окончательно. Переводъ же въ армію еще тѣмъ худъ, что я, во всякомъ случаѣ, плохой офицеръ, хотя бы по здоровью. А надо будетъ служить. Еслибъ я желалъ возвратиться въ Россію, такъ это единственно для того, чтобъ обнять родныхъ и повидаться съ докторами знающими и узнать, что у меня за болѣзнь (эпилепсія), что за припадки, которые все еще повторяются и отъ которыхъ каждый разъ тупѣетъ моя память и всѣ мои способности и отъ которыхъ боюсь въ послѣдствіи сойти съ ума. Какой я офицеръ? Еслибъ меня выпустили въ отставку—хоть бы оставя здѣсь *на время*—вотъ все мое желаніе. Я бы добылъ себѣ денегъ на существованіе. Здѣсь я бы не пропалъ. . . . . и потому напишите мнѣ *положительно* (по возможности): во-1-хъ) *могу ли я* въ очень скоромъ времени, по слабости здоровья, подать въ отставку? (прося на всякій случай возвращенія въ Россію, *для совѣта съ докторами*) и во 2-хъ) *могу ли я печатать*—вопросъ для меня *самый главный*, о которомъ вы *ничего* не пишете въ своемъ письмѣ. Но вѣдь это средство къ существованію моему и *карьерѣ*, потому *увѣренъ*, что я въ себѣ и надѣюсь быть извѣстнымъ и составить себѣ значеніе, участь, обратить на себя вниманіе, наконецъ. И потому прошу васъ, напишите мнѣ утвердительно: если бы я послалъ напечатать что-нибудь, въ скоромъ времени, подъ своимъ именемъ (или псевдонимомъ)—*будетъ ли напечатано?* Ради Бога, другъ мой, безцѣнный братъ мой, не оставьте меня, не забудьте меня и напи-

шите мнѣ объ этомъ, если возможно, скорѣе и утвердительноѣ. Впрочемъ, положительноѣ буду знать о томъ, чего намѣренъ добиться, послѣ поѣздки; ибо многое рѣшится въ эту поѣздку. А теперь, покамѣстъ, отвѣчайте мнѣ на эти два вопроса.

Такъ вы познакомились съ Г.? Какъ онъ вамъ понравился? Джентльменъ изъ «Соединеннаго Общества», гдѣ онъ членомъ, съ душою чиновника, безъ идей, и съ глазами вареной рыбы, котораго Богъ, будто на-смѣхъ, одарилъ блестящимъ талантомъ.

Какъ жаль мнѣ, что вы не сошлись близко съ моимъ братомъ. Это превосходнѣйшій человекъ, и, право, вы бы не имѣли никого подлѣ себя, кто бы васъ любилъ горячѣе его.—Прилагаю къ нему письмо. Ради Бога передайте поскорѣе, не задержите письмо. Пишу къ вамъ на-скоро, ибо о многомъ не могу писать положительно; повторяю, *сладующее письмо* будетъ ровнѣе и обстоятельнѣе.

О вашихъ вещахъ и книгахъ ничего не могу вамъ сказать. У Степанова нѣтъ *ничего*, онъ мнѣ самъ говорилъ. (Ни самовара, ни кострюль). Я видѣлъ лѣтомъ четыре ящика, которые Демчинскій отправилъ къ Остермейеру. Степановъ говоритъ, что вы ему ничего не оставили. Демчинскій говоритъ, что не знаетъ, что въ ящикахъ. Обо всемъ узнаю въ Барнаулѣ и о книгахъ и все постараюсь исполнить, о чемъ вы просили. Если мнѣ выдадутъ вашъ чемоданъ (который вы мнѣ дарите), то я возьму. Благодарю васъ, другъ мой, вы безъ конца обо мнѣ думаете.

Благодарю васъ за обѣщанье обмундировать меня. Но я по возможности обмундировался здѣсь (въ долгъ и кое-какъ). Мнѣ очень жаль, что не могъ предувѣдомить васъ раньше; ибо вы, можетъ быть, выслали уже все! Но мнѣ совѣстно, что вы на меня много

истратили. Но отъ каски, полусабли и шарфа не откажусь, даже буду просить; ибо здѣсь этого (особенно каски) не достанешь.

О новостяхъ здѣшнихъ ничего не пишу. Здѣсь все то же и всѣ тѣ же (напишу послѣ). Я довольно коротокъ съ Демчинскимъ (онъ мнѣ много помогаетъ на счетъ *поѣздокъ*; ибо самъ мнѣ сопутствуетъ, имѣя дѣлишки сердца въ Зміевѣ). Ради Бога не подумайте, чтобъ онъ мнѣ васъ замѣнилъ. Но онъ ужасно преданъ мнѣ (не знаю отчего) и я не могу не быть благодарнымъ. За что онъ васъ не совсѣмъ любитъ? Впрочемъ, все это у него дѣлается по *вдохновенію* какому-то. Обухъ (?) въ Вѣрномъ.

Прощайте, мой безцѣнный, пишите какъ можно скорѣе и отъ меня ждите скоро. Обнимаю васъ крѣпко.

*Вашъ Д.*

Семипалатинскъ, 21 декабря 1856 г.

Добрѣйшій, безцѣнный мой Александръ Егоровичъ. Вотъ уже сколько времени съ нетерпѣніемъ жду вашего письма и ничего не получаю. Получили ли вы мое, въ которомъ я увѣдомлялъ васъ, что недѣли на двѣ хочу уѣхать изъ Семипалатинска. Но если вы и получили, то, конечно, вашъ отвѣтъ на него еще не могъ прійти; я же говорю про то письмо ваше, которое вы обѣщали написать мнѣ еще и не ожидая отъ меня отвѣта. Вы хотѣли мнѣ выслать офицерскія вещи. Я уже увѣдомилъ васъ, добрѣйшій другъ мой, чтобъ вы не разорялись напрасно для меня, что всей экипировки мнѣ не надо (ибо во всякомъ случаѣ она поздно придетъ), и что если мнѣ дѣйстви-тельно очень нужны были нѣкоторыя изъ вещей, наприм. киверъ, форменные погоны, нумерныя пуговицы и т. д., то это единственно потому, что здѣсь

этого нѣтъ,—надо выписывать. И потому-то я васъ и увѣдомлялъ, что вотъ эти мелочи я готовъ принять отъ васъ съ благодарностію. Но если заготовка этихъ вещей и покупка ихъ задержала васъ, такъ что вы, ожидая окончанія этихъ закупокъ, и не писали ко мнѣ—то напрасно, конечно, напрасно! Другъ мой добрый и незабвенный, вы, которому я и безъ того такъ много обязанъ,—неужели какія-нибудь подобныя мелочи могутъ помѣшать вамъ писать ко мнѣ? Но можетъ быть я ошибаюсь, можетъ быть время уже успѣло изгладить въ вашей душѣ память обо мнѣ, и вы уже не такъ любите меня, какъ прежде! Кто знаетъ! Но нѣтъ! Мнѣ грѣшно говорить это. Вы такъ много для меня сдѣлали, что сомнѣніе, которое бы могло закрасться въ сердце мое, было бы неблагодарностію къ вамъ! Не хочу этихъ сомнѣній, гоню ихъ и, обнявъ васъ отъ души, хочу говорить съ вами попрежнему, какъ бывало, въ Семипалатинскѣ, когда вы были для меня всѣмъ: и другомъ, и братомъ, и когда мы оба дѣлили другъ съ другомъ свои заботы... *сердечныя*.

Во-1-хъ, давно ли вы видѣли Тотлебена? Въ Петербургѣ ли онъ? А если тамъ, то передали ли вы ему мою благодарность? Скажите ему, другъ мой, что нѣтъ у меня словъ, чтобъ выразить ему ее, и что я вѣчно буду благоговѣть передъ нимъ, всю мою жизнь и никогда не забуду того, что онъ для меня сдѣлалъ.—Ради Бога, добрый другъ мой, напишите мнѣ обо всемъ этомъ поскорѣе. Обѣщаль я вамъ письмо большое и вотъ пишу на полулистѣ. Причина тому, что не знаю, застанеть ли васъ мое письмо въ Петербургѣ. Вы писали мнѣ, что хотите ѣхать въ Ирбитъ, и, Богъ знаетъ, можетъ вы вздумаете ѣхать и до Барнаула. Въ такомъ случаѣ не знаю, пролежитъ ли мое письмо до вашего возвращенія или вамъ его

перешлють уже изъ Петербурга туда, гдѣ вы будете находиться. Вотъ почему и пишу вамъ коротко о томъ, о чемъ могъ бы написать и подлиннѣе. Есть и еще причина, которую вы поймете изъ слѣдующихъ словъ: «Богъ знаетъ, какъ бы я желалъ переговорить съ вами изустно, а не на письмѣ!» Еслибъ я могъ видѣть васъ, я бы вамъ кое-что передалъ, а теперь нельзя. Скажу только одно: я ѣздилъ въ Барнаулъ и въ Кузнецкъ съ Демчинскимъ и Семеновымъ (членъ Географическаго общества). Въ Барнаулъ мы приѣхали 24-го декабря (въ день именинъ Х.) и Гернгроссъ, не видавъ еще насъ, прямо пригласилъ насъ черезъ Семенова на балъ. Онъ мнѣ очень понравился. О барнаульскихъ я не пишу вамъ. Я съ ними со многими познакомился. Хлопотливый городъ и сколько въ немъ сплетенъ и доморощенныхъ Талейрановъ! Въ Барнаулѣ я пробылъ сутки и отправился одинъ въ Кузнецкъ. Тамъ пробылъ 5 дней и, воротившись, пробылъ еще сутки въ Барнаулѣ. Обѣдалъ у Гернгросса и былъ у него до вечера. Онъ обошелся со мной превосходно. За столомъ я сдѣлалъ маленькую неловкость. Сынъ ихъ, мальчикъ лѣтъ 8, мнѣ очень понравился; онъ ужасно похожъ на мать. Я это сказалъ. Она возразила, что нѣтъ сходства. Я началъ подробно разбирать это сходство. Представьте же себѣ: этого мальчика, какъ я послѣ узналъ, они считаютъ въ семействѣ чуть не уродомъ! Хорошъ мой комплиментъ.

Портретъ вашъ получилъ. Благодарю, другъ мой, благодарю! Чемоданъ, который вы мнѣ подарили, не получилъ. *Гернгроссъ* ни слова не сказалъ мнѣ о немъ. А мнѣ спросить было совѣстно. Конечно, онъ забылъ, но это все равно, ибо можетъ быть чемоданъ у *Остермейера*. Получу послѣ, если онъ у него. Книги ваши и минералы, по всей вѣроятности, въ

Зміевъ у Остермейера, въ тѣхъ 4-хъ ящикахъ, которые были отправлены лѣтомъ къ нему. Въ Зміевъ мы, въ обратный путь, пріѣхали ночью. У Остермейера я быть не могъ. *Но будьте увѣрены*, что все будетъ спасено и доставлено вамъ. Я еще надѣюсь быть въ Зміевъ.

Теперь, другъ мой, хочу объявить вамъ объ одномъ важномъ для меня дѣлѣ. Вамъ, какъ другу моему, это должно быть открыто. Коротко и ясно: *Если не помѣшаетъ одно обстоятельство*, то я, до масляницы, женюсь—вы знаете на комъ. Она же любить меня до сихъ поръ... Она сама сказала мнѣ: *да. То, что я писалъ вамъ объ ней лѣтомъ*, слишкомъ мало имѣло вліянія на ея привязанность ко мнѣ. Она меня любитъ.—Это я знаю навѣрно. Я зналъ это и тогда, когда писалъ вамъ лѣтомъ письмо мое. Она скоро разувѣрилась въ своей новой привязанности. Еще лѣтомъ, по письмамъ ея, я зналъ это. Мнѣ было все открыто. Она никогда не имѣла тайнъ отъ меня. О, еслибъ вы знали, что такое эта женщина! Я вамъ пишу *навѣрно*, что я женюсь; между прочимъ, можетъ быть одно обстоятельство, о которомъ долго рассказывать, можетъ отдалить бракъ нашъ на неопредѣленное время. Это обстоятельство совершенно постороннее, но мнѣ, по всѣмъ видимостямъ, кажется, что оно *не слухится*. А если его не будетъ, то слѣдующее письмо вы получите отъ меня, когда ужъ *все будетъ кончено*. Денегъ у меня нѣтъ ни копѣйки. По самымъ скромнымъ и скупымъ расчетамъ мнѣ на все надо 600 руб. сереб. Я намѣренъ ихъ *занять* у К. (онъ живетъ въ Омскѣ, но скоро пріѣдетъ). Мы съ нимъ въ послѣднее время сошлись очень хорошо. Я надѣюсь, что онъ мнѣ дастъ. А если не дастъ, то все рушится, по крайней мѣрѣ, на неопредѣленное время. Я займу у К. на далекій срокъ, т. е. на годъ

по крайней мѣрѣ. Но съ будущей почтой пишу въ Москву къ дядѣ, человѣку богатому, который не разъ помогаль нашему семейству, и прошу у него 600 руб. сер. Если дасть мнѣ, то я тотчасъ же отдамъ К.—Если же не дасть, то надо *самоу* достать деньги, ибо этотъ долгъ—*священный* долгъ и отдать его надо какъ можно скорѣе.

На брата я надѣяться не могу. Еслибъ у него были деньги, онъ далъ бы мнѣ. Но онъ писалъ, что обстоятельства его худы, по крайней мѣрѣ теперь. И потому одна надежда и на отдачу и на средства къ будущей жизни моей это: если мнѣ позволять печатать. Не удивляйтесь, другъ мой, что я, не имѣя ничего, занимаю такіе куши, какъ 600 р. сер. Но у меня есть готоваго для печати слишкомъ на 1,000 руб. сер. Слѣдовательно будетъ чѣмъ отдать, если позволять печатать и если дядя не пришлетъ.—Но если печатать не позволять еще годъ—я пропасть. Тогда лучше не жить! Никогда въ жизни моей не было для меня такой критической минуты, какъ теперь. И потому поймите, безцѣннѣйшій другъ мой, какъ важно для меня хоть какое-нибудь *извѣстіе о позволеніи* печатать. И потому умоляю васъ какъ Бога, если могли что-нибудь узнать объ этомъ (я просилъ васъ объ этомъ еще въ прошломъ письмѣ), то увѣдомьте *немедленно*. Умоляю васъ объ этомъ, и если въ васъ еще прежнія чувства ко мнѣ, вы примете мою просьбу и исполните ее. Такъ ли, другъ мой; обманываюсь я или нѣтъ? (почему не напечатана моя *дѣтская сказка*, о которой вы мнѣ писали? *Не отказали ли?* Это очень важно мнѣ знать. Разумѣется, я готовъ печатать *хоть навсегда безъ имени* или псевдонимомъ). Если К. дасть денегъ, я постараюсь выѣхать между 20-мъ и 25-мъ генваря, и дней черезъ 20 возвращусь въ Семипалатинскъ уже съ женой. Въ Барнаулѣ *надѣются*, не



знаю почему, что вы тамъ будете. Не сойдемся ли мы тамъ? Видите ли вы моего брата? Ради Бога увидайтесь съ нимъ, поговорите обо мнѣ въ мою пользу. Я не прошу у него денегъ; у него нѣтъ. Но прошу его, если онъ можетъ, выслать мнѣ кой-какія вещи. Мнѣ бы очень хотѣлось имѣть ихъ.

Да скажите брату, чтобъ написалъ мнѣ все, что знаетъ о всѣхъ *закулисныхъ тайнахъ* теперешней литературы. Это для меня очень важно. Прощайте, дорогой другъ мой, обнимаю васъ. Пишите, ради Христа, поскорѣе и увѣдомьте обо всѣмъ. Прощайте.

*Вашъ весь Достоевскій.*

Семипалатинскъ, 25 генваря 1857 г.

На письмо ваше, безцѣнный другъ, безцѣнный братъ мой, отвѣчаю этимъ коротенькимъ письмецомъ. Прошу васъ, не считайте мое письмо отвѣтомъ на ваше, а только предисловіемъ къ отвѣту. Писать я вамъ буду очень скоро, именно 10-го февраля, а если удастся, то даже и раньше, 3-го февраля. Да, другъ мой незабвенный, судьба моя приходитъ къ концу. Я вамъ писалъ послѣдній разъ, что Марья Дмитриевна согласилась быть моею женою. Все это время я былъ въ ужаснѣйшихъ хлопотахъ, какъ не потерялъ голову. Надо было устроить возможность свадьбы. Надо было занять денегъ. Я крѣпко надѣюсь, что мнѣ въ этомъ году что-нибудь позволятъ напечатать и тогда я отдамъ. Въ ожиданьи же надо было занять во что бы то ни стало. У меня былъ только одинъ человекъ, у котораго я могъ просить—К. Но онъ все время былъ въ Омскѣ; наконецъ, воротился и по первому моему слову далъ мнѣ 600 руб. сер., помогъ мнѣ какъ братъ родной. Я взялъ съ условіемъ воротить не ранѣе какъ черезъ годъ. Онъ просилъ не

безпокоить себя. Это благороднѣйшій человѣкъ! Только 3 дня тому, какъ я получилъ деньги и въ воскресенье 27-го я ѣду въ Кузнецкъ на 15 дней. Не знаю, успѣю ли въ такой короткій срокъ доѣхать и сдѣлать свадьбу. Она можетъ быть больна, она можетъ быть не готова или, напримѣръ, не стануть вѣнчаться въ такой короткій срокъ (ибо нужно много обрядовъ), однимъ словомъ я рискую до-нельзя, но никакъ не могу не рисковать, т. е. отложить *до послѣ Святой*. *Нѣтъ никакой возможности откладывать по нѣкоторымъ обстоятельствамъ*, и потому надо сдѣлать одно изъ рѣшительныхъ дѣлъ. Какъ-то надѣюсь, что удастся. Во всѣхъ моихъ рѣшительныхъ случаяхъ мнѣ сходило съ рукъ и удавалось. Но тысяча хлопотъ въ виду. Ужъ одно то, что изъ 600 руб. у меня почти ничего не останется по возвращеніи въ Семипалатинскъ: такъ много и такъ дорого все это стоитъ! А между тѣмъ я едва могъ купить нѣсколько стульевъ для мебели—такъ все бѣдно. Обмундировка, долги, плата и необходимые обряды и 1,500 верстъ ѣзды, наконецъ все, что могъ стоить *ея* подъемъ съ мѣста—вотъ куда ушли всѣ деньги. Вѣдь намъ обоимъ пришлось начинать чуть не съ рубашекъ—ничего-то не было, все надо было завести. Писаль въ Москву къ родственнику и просилъ 600 руб. Если не пришлетъ—я погибъ, по крайней мѣсяцевъ 8 буду жить, какъ нищій, т. е. до того времени, когда, по расчетамъ, могу что-нибудь напечатать. Теперь я хлопочу, какъ угорѣлый, дѣла бездна и письмо это пишу къ вамъ, другъ милый, въ три часа ночи, а завтра въ 7 надо уже быть на ногахъ. Много что черезъ 2 недѣли буду отвѣчать вамъ на все *подробно* и ничего *не скрывая*. А теперь только нѣсколько словъ и то отвѣчу на главнѣйшее... Благодарю васъ безъ конца за ваше письмо, но ради Бога пишите чаще: отвѣчайте

мнѣ тотчасъ же на это письмо, не дожидаясь 2-го. Адресъ мой другіе пишутъ прямо на мое имя. Но васъ попрошу писать на имя Ламота, съ передачею *Ф. М.*, т. е. *мнѣ*.—Вы пишете о братѣ: мнѣ жаль, что вы съ нимъ не сходитесь. Я объ немъ Богъ знаетъ съ какого времени ни слуху, ни духу не имѣю. Онъ даетъ мнѣ въ 8 мѣсяцевъ по 2 строчки, никогда не пишетъ о нужномъ. Чего онъ боится? Есть столько о чемъ надо писать и что *можно* написать. А я нуждаюсь въ извѣстіяхъ. Онъ мнѣ ни слова не пишетъ о литературѣ, а вѣдь это мой хлѣбъ, моя надежда. Хоть бы онъ отвѣчалъ мнѣ только на мои вопросы. Напримѣръ, я крайне нуждаюсь знать, кто нынче антрепренеры литературные! Это для меня капитально. Не понимаю, не понимаю его, несмотря ни на какія *его объясненія*. Я знаю одно: это превосходнѣйшій человѣкъ! Но что же съ нимъ дѣлается? Вы пишете, что я *люблю* писать; нѣтъ, другъ мой, но отношенія съ М. Д. занимали всего меня въ послѣдніе 2 года. По крайней мѣрѣ, *жилъ*, хоть страдалъ да жилъ! Хочу просить торжественно о позволеніи печатать. Помогите, помогите мнѣ, когда настанетъ время! Похлопочите о позволеніи, по крайней мѣрѣ не оставляйте извѣстіями. Поймите мое положеніе и будьте хоть вы моимъ во всемъ хранителемъ, какъ до сихъ поръ были!

До сихъ поръ не зналъ навѣрное, гдѣ ваши вещи и книги. Вы такъ положительно писали, что у Гернгросса, что я и самъ это думалъ. Теперь оказывается, что они у Остермейера. Ёду черезъ Зміевъ, спрошу о нихъ! Но не понимаю, какъ отошлю ихъ вамъ, ибо всѣ уже отправились въ Ирбитъ. Теперь поздно.

P.S. Прилагаю мѣрку съ головы для кивера, Безцѣннѣйшій Алек. Егор.! Мнѣ *крайне нужны* эти вещи. У насъ нѣтъ ни за какія деньги, и даже мы не

знаемъ хорошо настоящей формы. Надо: *киверъ, шарфъ, погоны, пуговицы*,—вотъ и все! Но гдѣ достать, коли нѣтъ! Вышлите ради Бога поскорѣе.

Простите же, безцѣннѣйшій другъ, что пишу такъ наскоро. Скоро напишу *обо всемъ*, а теперь до свиданья близкаго и обнимаю васъ! Ради Бога пишите подробнѣе обо всемъ, особенно о себѣ.

Семипалатинскъ, 9 марта 1857 г.

Вотъ уже двѣ недѣли слишкомъ, какъ я дома, дорогой мой другъ и братъ Александръ Егоровичъ, и только теперь насилу собрался написать къ вамъ. Еслибы вы знали, сколько выдалось мнѣ хлопотъ, суеты и занятій, самыхъ непредвидѣнныхъ, при новомъ порядкѣ вещей, то вѣрно простите меня за то, что тотчасъ по прибытїи не написалъ вамъ. Во-1-хъ, свадьба моя, которая совершилась въ Кузнецкѣ (6 февраля) и обратный путь до Семипалатинска взяли гораздо болѣе времени, чѣмъ я рассчитывалъ. Въ Барнаулѣ со мной случился припадокъ, и я лишнихъ четыре дня прожилъ въ этомъ мѣстѣ. (Припадокъ мой сокрушилъ меня и тѣлесно и нравственно: докторъ сказалъ мнѣ, что у меня настоящая эпилепсія, и предсказалъ, что если я не приму немедленныхъ мѣръ, т. е. правильнаго леченія, которое не иначе можетъ быть какъ при полной свободѣ, то припадки могутъ принять самый дурной характеръ, и я въ одинъ изъ нихъ захохочу отъ горловой спазмы, которая почти всегда случается со мной во время припадка). Приѣхавъ въ Семипалатинскъ, встрѣтили меня хлопоты по устройству квартиры; потомъ заболѣла жена, потомъ приѣхалъ бригадный командиръ и дѣлалъ смотръ всему, такъ что я и вамъ и брату

принужденъ былъ отложить писать до сегодня. А какъ мнѣ хотѣлось поскорѣе отвѣчать, другъ мой незабвенный, на ваше доброе, милое, прекрасное письмо! Не тужите, не тужите, другъ мой, хоть я и ясно вижу, что у васъ со всѣхъ сторонъ горе. Болѣе всего беспокоятъ меня за васъ, другъ мой, отношенія ваши съ отцомъ. Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю (по опыту), что подобныя непрятности нестерпимы, и тѣмъ болѣе нестерпимы, что вы оба, я знаю это, любите другъ друга. Это своего рода безконечное недоразумѣніе съ обѣихъ сторонъ, которое чѣмъ далѣе идетъ, тѣмъ болѣе запутывается. Тутъ не отдѣлаешься ни крестомъ, ни пестомъ. Никакія объясненія не возстановятъ согласія, а если возстановятъ, то на мигъ. Одна помощь, одно лекарство:—разлука. Въ первые же дни разлуки вы попадете опять въ его сердце и онъ первый обвинитъ себя во всемъ. Характеры, какъ у вашего отца—странная смѣсь подозрительности самой мрачной, болѣзненной чувствительности и великодушія. Не зная его лично, я такъ заключаю о немъ, ибо зналъ въ жизни, два раза, точно такія же отношенія, какъ у васъ съ нимъ. Его тоже нужно щадить, и вы знаете это лучше меня. Знаете что, другъ мой милый: мнѣ кажется, что вы такого же характера, тоже больны сердцемъ и душою, и если въ васъ еще не развилась мнительность и подозрительность, то не было случая, или еще рано, т. е. разовьется потомъ. Зато у васъ болѣзненно развилась чувствительность. Берегите и спасайте себя отъ этого; сильные перевороты въ жизни помогаютъ всегда; я былъ ипохондриккомъ въ высшей степени, но излечился вполне крутымъ переворотомъ, случившимся въ судьбѣ моей. Путешествіе превосходно . . . . .  
 . . . . .

Тверь, 31-го октября 1859 г.

Благодарю васъ отъ всей души, добрый другъ мой, за всѣ ваши старанія обо мнѣ. Поблагодарите за меня тоже Эдуарда Ивановича. Я бы ему самъ написалъ; но все думаю, что, можетъ быть, скоро буду въ Петербургѣ и тогда ужъ лично буду у него. А между тѣмъ, несмотря на мои надежды, я не знаю, что и придумать. Рѣшительно, какъ повѣшанный между небомъ и землею. Вы знаете, что я написалъ прямо къ Государю, и что письмо мое отослано здѣшнимъ губернаторомъ г. Барановымъ Адлербергу, который передастъ его Государю Императору лично. Вотъ уже 12 дней какъ пошло письмо. Не знаю и не слыхалъ ничего: было ли оно показано Государю Императору? Если бъ было показано, то, можетъ быть, сейчасъ же былъ бы и отвѣтъ; по крайней мѣрѣ гр. Адлербергъ написалъ бы что-нибудь о результатѣ подачи письма гр. Баранову, нашему губернатору; а гр. Барановъ мнѣ бы сейчасъ сообщилъ. Но ничего нѣтъ, покамѣстъ. Теряюсь въ догадкахъ. Думаю (что, впрочемъ, очень вѣроятно), не отослалъ ли Его Императорское Величество мое письмо князю Долгорукому, чтобъ спросить его: не существуетъ ли противъ моей просьбы какихъ-нибудь особенныхъ препятствій? (Такъ, мнѣ кажется, и должно итти дѣло; это формальный ходъ). Но такъ какъ противъ меня рѣшительно не можетъ быть никакихъ особыхъ препятствій (это я знаю навѣрно) и такъ какъ князь уже обѣщалъ Эдуарду Ивановичу обратить вниманіе на мое дѣло,—то, мнѣ кажется, онъ бы не могъ задержать его. Неужели стануть дѣлать у гр. Баранова, какъ у губернатора г. Твери, обо мнѣ справки, то

есть о моемъ поведеніи? Не думаю. Вѣдь гр. Адлербергъ подастъ письмо отъ имени гр. Баранова. Чего же больше? (Значить гр. Барановъ находитъ меня достойнымъ, если самъ за меня хлопочетъ). Къ тому же, если бѣ были оффиціальныя справки, гр. Барановъ, я думаю, увѣдомилъ бы меня объ этомъ, и я бы зналъ. Другъ мой, я знаю, вы меня любите и мнѣ не откажете. Попросилъ бы я васъ; но не знаю о чемъ и просить. Вотъ въ чемъ дѣло: хорошо было бы справиться, но у кого? Безпокоить Эд. Ив.? Спросить черезъ кого-нибудь (не слишкомъ оглашая дѣла) у Адлерберга? Справиться у Долгорукаго?—Рѣшительно не знаю, какъ и придумать. Если услышите что-нибудь, сообщите ради Бога, умоляю васъ, добрѣйшій Александръ Егоровичъ. Жду не дождусь. Живу точно на станціи. Даромъ теряю время и проигрываю по дѣламъ. А у меня дѣла по продажѣ моихъ сочиненій, т. е. денежныя; слѣдовательно для меня важныя. Я вѣдь этимъ живу. Но, впрочемъ, еще не теряю надежды. Богъ и Государь милостивы...

Прочель съ крайнимъ участіемъ ваше письмо. Что это вы мнѣ пишете, дорогой мой, о своемъ сердцѣ, что оно уже не можетъ жить попрежнему? И когда же? Въ 26 лѣтъ. Но развѣ это возможно? Просто вы сами не знаете вашихъ силъ. Выдержавъ два раза сердечную горячку, вы думаете, что истощили все. А, впрочемъ, это естественно думать. Когда нѣтъ *новаго*, такъ и кажется, что совсѣмъ уже умеръ. Такъ и всѣ думаютъ. Но сердце человѣческое живетъ и требуетъ жизни. Ваше тоже требуетъ жизни,—и это-то и есть признакъ его свѣжести и силы. Оно ждетъ и тоскуетъ. Но подождите. Жизнь возьметъ свое, я увѣренъ. Много еще впереди... Какъ, впрочемъ, желалъ бы я видѣться и поговорить съ вами!

О Полонскомъ я слышалъ много хорошаго. Вашего Дм. Болховскаго я здѣсь встрѣчалъ. Но о Львовѣ не имѣю понятія. Что за исторія въ Баденѣ? Рѣшительно въ первый разъ слышу. Фу, Боже мой! Сколько прошло съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались! И вы и я пожили и *много прожили*.

Въ Твери мнѣ рѣшительно скучно, хотя тутъ и есть 2—3 человѣка. Книги ваши нѣкоторыя спасены, хотя и поистерлись немного дорогой. А изъ минеральной коллекціи былъ у меня только списокъ (теперь затерянный) и не болѣе 3 или четырехъ штукъ минераловъ. Я ихъ оставилъ въ Семипалатинскѣ. Куда дѣвалась вся коллекція—не знаю. Ягдташъ же вашъ и маленькій кинжалъ (какъ лежавшій въ чемоданѣ), я почелъ своею собственностью, такъ какъ вы мнѣ все подарили, и уѣзжая подарилъ, въ свою очередь, между прочимъ, кинжаликъ Валиханову. Ужъ за это простите. Валихановъ премилый и презамѣчательный человѣкъ. Онъ, кажется, въ Петербургѣ? Писалъ я вамъ объ немъ? Онъ членъ Географическаго общества. Справьтесь тамъ о Валихановѣ, если будетъ время. Я его очень люблю и очень имъ интересуюсь. Прощайте, другъ мой. Обнимаю васъ. Хотѣлъ было написать больше; но спѣшу. Авось увидимся. Дай-то Богъ. Марья Дмитриевна вамъ кланяется.

*Вашъ весь Достоевскій.*

Тверь, 2 ноября 1859 г.

Безцѣнный другъ мой, Александръ Егоровичъ, письмо мое, на этотъ разъ, *дѣловое* и все объ моихъ дѣлахъ. Къ вамъ же просьбы. Вполнѣ полагаюсь на васъ. Вотъ въ чемъ дѣло: Эд. Ив. прислалъ мнѣ письмо, въ которомъ извѣщаетъ меня, что онъ го-



вориль обо мнѣ кн. Долгорукову и генераль-адъютанту Тимашеву; что оба они изъявили свое согласіе на житѣе мое въ Петербургѣ, и просятъ, чтобъ я написалъ къ нимъ объ этомъ письма. Съ этой же почтой увѣдомляю Эд. Ивановича и посылаю письма кн. Долгорукову и Тимашеву. Особенно и убѣдительноѣйше прошу васъ, другъ мой, передать немедленно письмо мое Эд. Ив-чу, сдѣлавъ конвертъ и надпись. Прочтите письмо это внимательно. Я въ большомъ затрудненіи, признаюсь вамъ.— Выбравъ Эд. Ив-ча моимъ ходатаемъ у кн. Долгорукаго, я вдругъ пишу письмо къ Государю и черезъ гр. Баранова оно передается Адлербергу для передачи Его Императорскому Величеству (о чемъ уже я васъ увѣдомилъ въ послѣднемъ письмѣ моемъ). Не обидѣлся бы Эд. Ивановичъ. Поймите меня: Эд. И-чъ благороднѣйшій человекъ, и не посмотритъ на мелочи, но меня-то онъ *давно* ужъ не знаетъ лично. Какъ бы не хотѣлось мнѣ, чтобъ онъ подумалъ обо мнѣ дурное! Дурное вотъ въ чемъ: *какъ будто я, не довѣряя его стараніямъ и хлопотамъ обо мнѣ, обращаюсь къ другимъ людямъ, ожидая отъ нихъ болѣе, чѣмъ отъ него.* По крайней мѣрѣ, рѣшась на письмо къ Государю, я бы *долженъ былъ* тотчасъ же объ этомъ увѣдомить Эд. Ив-ча. Я тогда же чувствовалъ необходимость этого. Но вы уѣхали тогда въ деревню, письма отъ васъ я не имѣлъ и потому не могъ знать: успѣли ли вы передать мое письмо Эд. Ив-чу. Безъ увѣдомленія отъ васъ я не рѣшался на другое письмо. Да и черезъ кого бы я и послалъ другое письмо Эд. Ив-чу, не зная даже его адреса? Обо всемъ этомъ я ему пишу.—То же обстоятельство, что я какъ будто болѣе довѣряю стараніямъ другихъ обо мнѣ, чѣмъ Эд. Ив-чу, совершенно несправедливо, и я неви-

новать нисколько. Гр. Барановъ—губернаторъ. Кн. Долгоруковъ непременно сдѣлалъ бы ему запросъ обо мнѣ, *какъ губернатору*: благонадеженъ ли я?—еслибъ князя просилъ я о жительствѣ въ Петербургѣ. Изъ этого вышла бы лишняя трата времени. Государю же гр. Барановъ переслалъ письмо мое *отъ своего имени*, какъ губернаторъ, а слѣдовательно не надо справляться обо мнѣ, если самъ губернаторъ обо мнѣ старается; слѣдовательно дѣло много могло выиграть времени. Къ тому же въ письмѣ моемъ къ Государю я прошу о помѣщеніи моего пасынка Паши въ гимназію. Марья Дмитриевна убивается за судьбу сына. Ей все кажется, что если я умру, то она останется съ подроставшимъ сыномъ опять въ такомъ же горѣ, какъ и послѣ перваго вдовства. Она напугана и хоть сама не говоритъ мнѣ всего, но я вижу ея безпокойство. А такъ какъ жизнь въ Твери я еще не знаю когда кончится, а Паша не пристроенъ и только теряетъ дорогое время, то я, въ рѣшительную минуту, пустился на крайнюю мѣру и написалъ къ Государю, надѣясь на его милосердіе. Вотъ исторія письма моего. Я разсуждалъ, что если откажутъ въ одномъ, то, можетъ быть, не захотятъ отказать въ другомъ, и если не соизволитъ Государь разрѣшить мнѣ жить въ Петербургѣ, то по крайней мѣрѣ приметь Пашу, чтобъ не отказывать совершенно.

Другъ мой, я совершенно вѣрю въ благородство и въ ясный взглядъ Эд. Ив-ча; но если вы замѣтите, что онъ недоволенъ тѣмъ, что я его не увѣдомилъ тотчасъ же о письмѣ къ Государю, то защитите меня. Мнѣ слишкомъ больно будетъ, если онъ обвинить меня. Отъ вашей дружбы ожидаю всего. Увѣдомьте меня, ради Бога, обо всемъ этомъ подробнѣе. Я вамъ уже писалъ о письмѣ моемъ черезъ Адлерберга. Отъ Адлерберга нѣтъ еще никакихъ извѣстій Бара-

нову,—и я недоумѣваю, что это значить? Вѣроятно графъ Адлербергъ медлитъ передачею. Что будетъ,— не знаю! Одна надежда: на Государево милосердіе и на добрыхъ людей.

Не знаю, когда обниму васъ, дорогой мой. Простите за непрерывныя просьбы и порученія. Но скоро, можетъ быть, все кончится и кончится къ лучшему.

Въ этотъ разъ ничего не пишу болѣе: надо заготовить къ завтраму же письма кн. Долгорукову и Тимашеву. Работы ужасъ. Прощайте, обнимаю васъ крѣпко и, повторяю, надѣюсь на всю вашу дружбу ко мнѣ.

Вашъ неизмѣнный

*Федоръ Достоевскій.*

Тверь, 19 ноября 1859 г.

Дорогой другъ мой, Александръ Егоровичъ, спѣшу писать къ вамъ. Разныя обстоятельства рѣшительно задержали меня отвѣчать вамъ раньше. Да и теперь беру перо, чтобы опять писать о дѣлахъ. Когда-то они кончатся, и когда-то я обниму васъ всѣхъ, моихъ милыхъ. Я опять къ вамъ съ просьбой и дай Богъ, чтобъ это была послѣдняя! Измучилъ я васъ этими просьбами. Но вы всегда для меня были братомъ. Не откажите и теперь.

Вотъ въ чемъ дѣло: вы пишете, для чего я, имѣя согласіе отъ Долгорукова и Тимашева на водвореніе мое въ Петербургъ, не ѣду къ вамъ. То-то и бѣда, другъ мой, что нельзя; ибо дѣло теперь у Государя. Самъ же я писалъ къ Нему и теперь уже Онъ рѣшитъ. Я, было, думалъ пріѣхать на нѣкоторое время; потому что если Долгорукій согласенъ *даже на окончательный мой переездъ въ Петербургъ*, то уже

не будет сердиться, если я, въ ожиданіи окончательнаго рѣшенія, приѣду въ Петербургъ на нѣсколько дней. Я, было, и рѣшилъ ѣхать и сказать объ этомъ гр. Баранову. Но тотъ мнѣ отсовѣтоваль, боясь, чтобъ я не повредилъ себѣ, самовольно воспользовавшись правомъ, о которомъ еще такъ недавно просилъ и до сихъ поръ не получилъ отвѣта. Согласитесь сами, другъ мой, что не могу же я ѣхать, если Баранову этого не хочется. А не сказавшись ему, я не могъ уѣхать. Онъ переслалъ мое письмо къ Государю (черезъ Адлерберга) и просилъ вручить его отъ *своего имени*, слѣдовательно ручался за меня, какъ губернаторъ; а потому, еслибъ я поѣхалъ тихонько отъ него, было бы съ моей стороны неделикатно. И потому вотъ что я придумалъ и что графъ самъ мнѣ посовѣтоваль. Именно: написать кн. Долгорукому письмо, въ которомъ я прошусь на временный приѣздъ въ Петербургъ, въ ожиданіи окончательнаго рѣшенія по первой просьбѣ моей, т. е. объ окончательномъ водвореніи моемъ въ Петербургѣ. Это письмо Долгорукому я уже написалъ и отсылаю сегодня же. Причину, по которой я прошусь въ Петербургъ, я выставляю денежныя мои обстоятельства; т. е. что намѣренъ издать выборъ изъ прежнихъ моихъ сочиненій, что долженъ сыскать себѣ издателя, т. е. покупщика, и сдѣлать это непременно лично. Ибо, дѣйствуя заочно, много могу потерять, что уже и случалось со мной не разъ; а всякая потеря, въ настоящемъ крайнемъ положеніи моемъ, для меня очень значительна. (Все это справедливо и истинно; я хочу посовѣтоваться съ Кушелевымъ. Онъ издаетъ и можетъ за мои сочиненія заплатить мнѣ порядочно. Да къ тому же у меня съ нимъ еще счеты по журналу, и объ этомъ надо поговорить лично. Вотъ почему я поставилъ эту причину въ

письмѣ къ Долгорукому, разумѣется, не упоминая о Кушелевѣ). Какъ вы думаете теперь, дорогой мой? Если согласенъ былъ князь Долгорукой даже на водвореніе мое въ Петербургѣ, неужели откажетъ, въ ожиданіи окончательнаго рѣшенія, позволить мнѣ пріѣхать на малое время? Думаю, что нѣтъ; но *могутъ протянуть отвѣтъ*. Вотъ поэтому-то и просьба къ вамъ слѣдующая:

Если можно, дорогой мой, увѣдомьте Эдуарда Ивановича о томъ, что я сегодня, 19-го числа, послалъ письмо къ Долгорукому съ этой просьбой и увѣдомьте, по возможности, немедленно. Я бы самъ написалъ Эдуарду Ивановичу; но боюсь, что я уже слишкомъ беспокою. Вы—мой братъ и другъ; съ вами я не церемонюсь; мы связаны старыми, хорошими воспоминаніями. А Эдуардъ Ивановичъ только по крайней добротѣ своей и по благородству своему обо мнѣ заботится. Такъ боюсь, такъ боюсь обезпечить его черезчуръ! Онъ такъ со мной былъ деликатенъ, что и мнѣ надо быть съ нимъ деликатнымъ. Съ другой стороны я понимаю и его положеніе. Кто знаетъ, въ какихъ отношеніяхъ онъ находится ко всѣмъ этимъ лицамъ. Можетъ быть, ему тяжело просить ихъ о чемъ-нибудь. А потому *главнѣйшая черта, духъ и смыслъ* моей просьбы къ вамъ: съѣздите (если только вамъ возможно) къ Эдуарду Ивановичу и посмотрите со всѣмъ вниманіемъ, призвавъ на помощь всю деликатность вашего сердца,—какъ бы могъ принять Эдуардъ Ивановичъ эту новую просьбу мою? Если увидите, что она его не отяготитъ, то скажите ему все. Именно: расскажите, въ чемъ дѣло, что 19-го ноября я послалъ письмо къ Долгорукому съ такой-то просьбой и что нельзя ли поддержать это письмо мое къ Долгорукому своимъ ходатайствомъ у него за меня. Если онъ скажетъ, что можно, то скажите

ему, что мнѣ прямо совѣстно было написать ему объ этомъ, скажите ему всю правду. Если же вы сами найдете, что я уже слишкомъ беспокою его,—если найдете это, даже еще не ѣздя къ нему, то ужъ и не ѣздите совѣмъ. Все на ваше усмотрѣніе, другъ мой, а на расположеніе ваше ко мнѣ я полагаюсь. Просьба-то, видите ли, роковая! Могутъ отказать, могутъ не отвѣтить и, наконецъ, могутъ затянуть дѣло; могутъ, наконецъ, и очень скоро отвѣтить, но отказомъ. И потому, чтобъ не потерять время! Впрочемъ, все на ваше усмотрѣніе. Кланяйтесь Эд. Ив. и благодарите его отъ меня. На этотъ разъ прощайте, голубчикъ мой. Не пишу вамъ больше ничего. Скоро, можетъ быть, увидимся. Даже брату не отвѣчаю сегодня,—такъ *тороплюсь*.

*Вашъ Ѳ. Достоевскій.*

Висбаденъ, 5 сентября (здѣшн. стilia) 1865 г.

Многоуважаемый и добрый другъ Александръ Егоровичъ, получили ли вы мое письмо, которое я вамъ послалъ съ мѣсяцъ тому назадъ въ Копенгагенъ? Я совершенно рассчитывалъ, что вы въ Копенгагенѣ, посылая письмо, потому что написалъ вамъ въ скорости по выѣздѣ моемъ за границу. Если вы выѣхали изъ Копенгагена раньше 10-го іюля (нашего стilia) въ Россію, то навѣрно бы отыскали меня въ Петербургѣ. А такъ какъ въ Петербургѣ мы не видались, то я навѣрно рассчитывалъ, что вы еще не выѣзжали въ Россію (о намѣреніи этомъ вы мнѣ писали прежде). Слѣдственно (думаю теперь) мы разѣхались именно въ то время, когда я выѣхалъ за границу.—Но, можетъ быть, вамъ мое письмо переслали изъ Копенгагена въ Россію, и въ такомъ случаѣ, можетъ быть, вы и отвѣчали мнѣ по адресу

въ Цюрихъ, какъ я вамъ писалъ. Но увы! я засѣлъ въ Висбаденъ и въ Цюрихъ еще не былъ, а потому ничего не знаю.

Есть здѣсь священникъ, Янышевъ, который былъ въ Копенгагенъ. Я случайно съ нимъ здѣсь, въ Висбаденъ, познакомился и узналъ, что онъ васъ знаетъ. Между прочимъ, онъ мнѣ сказалъ, что вы, намѣреваясь нынѣшнимъ лѣтомъ ѣхать въ Россію, *говорили, что къ сентябрю воротитесь опять* въ Копенгагенъ. Это дало мнѣ надежду написать вамъ опять, и, можетъ быть, этотъ разъ мое письмо найдетъ васъ въ Копенгагенъ.

На этотъ разъ буду писать только о себѣ и именно объ одномъ только дѣлѣ. Не сообщайте вы то, что я вамъ напишу, никому, потому что чувствую, что это отчасти чернить меня. Но такъ какъ въ такомъ случаѣ фразы совершенно бесполезны и тяжелы, то и признаюсь вамъ прямо,—хотя и совѣстно признаться,—что я, по глупости моей, недѣли двѣ тому назадъ *весь проигрался*, т. е. проигралъ все, что со мной было.

Я игралъ и прежде, съ самага пріѣзда моего въ Висбаденъ, но игралъ счастливо, и даже значительно (относительно говоря) выигралъ, но по глупости моей свихнулся и все проигралъ въ три дня, и теперь сижу въ самомъ скверномъ положеніи, какое только можно изобрѣсти, и изъ Висбадена не могу выѣхать.

Я написалъ въ Россію одному преданному мнѣ человѣку (Милюкову) и поручилъ ему постараться взять у кого-нибудь впередъ изъ издателей для меня въ видѣ задатка будущихъ трудовъ. Онъ это мнѣ обѣщаетъ непремѣнно, да и самъ, можетъ быть, поможеть, но письма отъ него и денегъ я, по расчетамъ моимъ, не могу раньше ждать, какъ черезъ

двѣ недѣли (отъ сего числа), и это самое скорое. Въ ожиданіи же сижу совершенно безъ гроша и, что всего хуже, долженъ въ отелѣ. А это ужъ хуже всего.

И потому, добрый другъ мой, рѣшаюсь обратиться къ вамъ. Спасите меня и выведите изъ бѣды: пришлите мнѣ на самый короткій срокъ 100 талеровъ. Этимъ я здѣсь расплачусь и тотчасъ же уѣду въ Парижъ, гдѣ у меня дѣло и гдѣ я отыщу одного человѣка (который навѣрно тамъ) и который тотчасъ же мнѣ поможетъ. Тогда немедленно вамъ отдамъ.

Пишу вамъ на угадъ, въ предположеніи, что вы въ Копенгагенѣ. Но въ случаѣ, если вы еще въ Россіи, и вамъ перешлютъ это письмо, и получите его не позже, какъ черезъ двѣ недѣли, т. е. *не позже* 19-го сентября здѣшняго стилия (по нашему 7-го), то все равно, пришлите мнѣ сюда эти 100 талеровъ, если можете, въ Висбаденъ. Если же позже получите, то и не присылайте. Я потому такъ пишу, что невольно долженъ разсчитывать на худое. Милюковъ *навѣрно* мнѣ все устроить, но, во 1-хъ, онъ *одна* моя надежда въ Россіи, а во 2-хъ, онъ можетъ не быть въ Петербургѣ, потому что, при разставаніи нашемъ, говорилъ мнѣ, что думаетъ это лѣто съѣздить прогуляться въ Нижній.

Въ такомъ случаѣ, я могу еще долго быть безъ денегъ, и поѣздка моя въ Парижъ, которая для меня слишкомъ важна, можетъ не состояться. А тамъ я и деньги тоже могу достать. Кромѣ того, здѣсь я слишкомъ задолжаю, а это чрезвычайно тяжело. И потому, если можете, ради Бога пришлите.

Потому такъ обратился къ вамъ, что помню васъ прежняго, и что въ нашей жизни было много моментовъ, такъ насъ соединившихъ, что мы, хотя бы и были разъединены жизнію, не можемъ оставаться



болѣе другъ другу чужды. Вотъ почему и рѣшился смѣло признаться вамъ въ этомъ глупомъ и малодушномъ моемъ поступкѣ. Пусть это между нами. На счетъ же денегъ думаю, что если у васъ есть въ эту минуту, то вы не оставите безъ помощи утопающаго.

Если будетъ у меня какая возможность, заѣду непремѣнно въ Копенгагенъ.

Обнимаю васъ. Вашъ искренній  
*Федоръ Достоевскій.*

Адресъ мой: Allemagne, Nassau, Wiesbaden, poste restante, à M-r Théodore Dostoïewsky.

18 сентября 1865 г.

Любезнѣйшій и Многоуважаемый  
Александръ Егоровичъ.

Я писалъ вамъ уже два письма, на которыя не получилъ отвѣта. Такъ и положилъ, что вы вѣрно въ Россіи и не сдѣлали распоряженія, чтобъ письма высылались къ вамъ въ Россію. Здѣсь есть при русской церкви священникъ Янышевъ. Я съ нимъ познакомился и, разговаривая съ нимъ, узналъ, что онъ былъ въ Копенгагенѣ и васъ знаетъ. Онъ сообщилъ мнѣ, что вы намѣревались ѣхать въ Россію, съ тѣмъ чтобъ къ *сентябрю воротиться въ Копенгагенъ*. Имѣя такимъ образомъ хотя нѣкоторую надежду, что это письмо найдетъ васъ уже въ Копенгагенѣ, рѣшился я написать вамъ еще, въ третій разъ. Авось хоть это письмо дойдетъ до васъ.

Надобно вамъ сказать, что во второмъ письмѣ моемъ я просилъ у васъ помощи. Я весь истратился,

задолжалъ въ отелѣ, кредитъ мой здѣсь исчезъ, и я въ самомъ тягостномъ положеніи. То же самое продолжается и до сихъ поръ, съ тою только разницею, что вдвое хуже. Между тѣмъ, надо ѣхать въ Россію, тамъ неотлагаемая дѣла, а мнѣ ни расплатиться, ни подняться не на что и я въ совершенномъ отчаяніи. Еще не много, и я сдѣлаюсь серьезно боленъ. Что мнѣ дѣлать, не могу понять!

Надѣялся я на мою повѣсть, которую пишу день и ночь. Но вмѣсто 3-хъ листовъ она растянулась въ 6-ть, и работа до сихъ поръ не окончена. Правда, мнѣ же больше денегъ придется, но во всякомъ случаѣ раньше мѣсяца я ихъ не получу изъ Россіи. А до тѣхъ поръ? Здѣсь уже грозятъ полиціей. Что-же мнѣ дѣлать?

Я писалъ вамъ и просилъ, чтобъ вы выслали мнѣ 100 талеровъ. Эти деньги теперь уже не помогутъ мнѣ радикально, но по крайней мѣрѣ сильно облегчатъ меня и спасутъ отъ сраму. И потому, если можете мнѣ помочь, если вы тотъ же прежній, добрый другъ мой, то не откажите мнѣ въ этихъ 100 талерахъ. Повѣсть моя стоитъ, по теперешнимъ нашимъ цѣнамъ,—minimum 1,000 сереб. и черезъ мѣсяць я *навѣрно* вамъ отдамъ.

Я до того въ тоскѣ, до того измученъ заботой, что не въ состояніи ничего вамъ написать болѣе. Простите, добрый другъ, что васъ беспокою. Есть—такъ помогите.

Адресъ мой: Wiesbaden, poste restante, à M-r Théodore Dostoïewsky.

Этотъ адресъ на цѣлый мѣсяць.

Крѣпко жму вамъ руку

*Вашъ Федоръ Достоевскій.*

Висбаденъ, 28 сентября 1865 г.

Благодарю васъ, безцѣнный другъ, что помогли мнѣ. Вы показали, что вы всегдашній, неизмѣнный другъ и что сердце ваше не измѣнилось съ лѣтами. Вы ѣдете въ Швецію,—вѣроятно не надолго. Такимъ образомъ, это письмо, можетъ быть, и не застанетъ васъ въ Копенгагенѣ. Вотъ вопросъ: застану ли я васъ въ Копенгагенѣ? Мнѣ бы очень, очень хотѣлось захватить къ вамъ. Но если у меня будетъ хотя два-три дня въ моемъ распоряженіи лишнихъ, и притомъ при хорошихъ обстоятельствахъ,—то всетаки я не хочу послѣдовать вашему совѣту возвратиться въ Петербургъ моремъ, потому что мнѣ *необходимо* захватить дня на три въ Псковскую губернію (возлѣ самой дороги).

Ваши сто талеровъ принесли мнѣ пользу отчасти относительную. Такъ какъ госпожа Бринкенъ сама вчера пришла въ нашъ отель вечеромъ и не застала меня дома, то и успѣла рассказать хозяину отеля, что она должна мнѣ передать письмо съ деньгами. А вслѣдствіе того сегодня, когда я къ ней ходилъ самъ и получилъ, хозяинъ, увѣдомленный о деньгахъ, отобралъ у меня почти *все*, такъ что мнѣ осталось десятка полтора гульденовъ. Это совершенно въ здѣшнихъ нравахъ, а между тѣмъ у меня есть одинъ долгъ и одинъ расходъ (выкупъ заклада), которые ужасно меня тревожатъ. Но все равно: авось получу скоро свои деньги, и тогда отданное теперь хозяину будетъ уже отданное. *Autant de gagné.*

Надѣюсь, что мнѣ недолго ждать, и однакомъ всетаки дней 10. Эти 10 дней я проведу въ лихорадкѣ. Вотъ на что я рѣшился: я написалъ письмо къ Каткову, съ предложеніемъ моей повѣсти въ «Русскій Вѣстникъ» и съ просьбою выслать сюда 300 руб.

впередъ. Но я боюсь очень двухъ обстоятельствъ: 1) 6 лѣтъ тому назадъ Катковъ мнѣ выслалъ въ Сибирь (передъ отъѣздомъ изъ Сибири) 500 впередъ за повѣсть, которую еще я ему не послалъ. (Можетъ и 1,000 выслалъ; я забылъ: 500 или 1,000). А вдругъ потомъ мы письменно повздорили въ условіяхъ и разошлись. Деньги Каткову были возвращены, и повѣсть, которую, тѣмъ временемъ, я успѣлъ уже выслать, взята назадъ. 2) Съ тѣхъ поръ, въ продолженіи изданія «Времени», были между обоими журналами потасовки. . . . А Катковъ такой человѣкъ, что я очень боюсь теперь, чтобъ онъ, припомнивъ прошлое, не отказался высокомерно теперь отъ предлагаемой мною повѣсти и не оставилъ меня съ носомъ. Тѣмъ болѣе, что я не могъ, предлагая ему повѣсть, сдѣлать это предложеніе иначе, какъ въ независимомъ тонѣ и безо всякаго униженія.

А, между тѣмъ, повѣсть, которую я пишу теперь, будетъ, можетъ, быть лучше всего, что я написалъ, если дадутъ мнѣ время ее окончить. О, другъ мой! Вы не повѣрите, какая мука писать на заказъ. И даже матеріально невыгодно. Чѣмъ слабѣе вещь, тѣмъ больше спускается цѣна. Но что мнѣ дѣлать: у меня 15,000 долгу, тогда какъ въ это время прошлаго года у меня не было долгу ни копейки. Я не только пожертвовалъ для семейства брата своими собственными 10-ю тысячами, но даже надавалъ векселей и переписалъ братнины векселя на свое имя, и теперь буду сидѣть нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ за чужіе долги. А съ бѣднымъ моимъ Пашей что будетъ? А съ больнымъ братомъ Колей? Вотъ я самъ выѣхалъ за границу, чтобъ поправить здоровье и что-нибудь написать. Написать-то я написалъ, а здоровье стало хуже; падучей нѣтъ, а сжигаетъ меня какая-то внутренняя лихорадка, ознобъ, жаръ каждую

ночь, и я худѣю ужасно. Должно быть, простудился. До свиданія, другъ мой. Адресъ мой все тотъ же: Wiesbaden, poste restante, пожалуйста poste restante.

*Вашъ весь Ѳ. Достоевскій.*

Деньги, если не успѣю отдать вамъ въ руки еще до Россіи, отдамъ въ Петербургѣ, какъ вы назначили.

Я въ Висбаденѣ пробуду навѣрно еще дней десять до отвѣта отъ Каткова.

Петербургъ, 8 ноября 1865 г.

Добрѣйшій и многоуважаемый другъ Александръ Егоровичъ. Неужели ужь четыре недѣли прошли? Сосчиталь и дѣйствительно такъ. А что я сдѣлалъ? Странно. По вашему письму вижу, что вы какъ будто и не получили мою записочку съ парохода изъ Кронштадта. Такъ ли? Напишите. Я вамъ лишній фунтъ задолжалъ. Это была не записка, а нѣсколько словъ на пароходномъ счетѣ. Не хватило фунта, а между тѣмъ на карманные мои расходы пошло всего 5 шиллинговъ (на пиво. Вода была сквернѣйшая). Явились такія рубрики счета, которыхъ и подозрѣвать нельзя было и избѣжать тоже. Я и написалъ на счетѣ вамъ нѣсколько строкъ, прося заплатить этотъ фунтъ въ Копенгагенѣ. Потому что у меня уже ни копейки не было. Неужели они не явились? Переходъ былъ спокойный, но притащились мы только на шестыя сутки.

Какъ пріѣхалъ—сейчасъ припадокъ, въ первую ночь,—сильнѣйшій. Оправился, дней черезъ пять—другой припадокъ, еще сильнѣе. Наконецъ, 3-го дня еще, хоть и слабый, но три сряду меня ужасно разстроили.—Тѣмъ не менѣе сижу и работаю не разгибая шеи. Катковъ прислалъ 300 руб. въ Висбаденъ, дома ихъ нашель у себя: переслалъ Янышевъ.

Между тѣмъ, все на меня обрушилось. Семейство брата (покойнаго) въ полномъ разстройствѣ. Только меня и ждали. Все имъ отдалъ и кромѣ того на дняхъ занялъ еще 100 руб. Что мнѣ дѣлать, не знаю. Совѣтывался только съ Полонскимъ. Много говорилъ мнѣ о томъ, что надо *непремѣнно* подождать съ журналомъ и совѣтывалъ написать романъ и еще что-нибудь, чтобъ подновить свое имя, и тогда уже начинать. Значить черезъ годъ. На счетъ же вспоможенія качаетъ головой. Но я еще не пробовалъ, а все хочу еще попробовать. Я буду просить для семейства брата у министра.

Въ головѣ у меня есть одно періодическое изданіе, не журналъ. И полезное и выгодное. Можетъ быть, осуществлю въ будущемъ году. Но пока надо романъ кончить. Работаю изъ всѣхъ силъ, а между тѣмъ это запрещено докторами, ибо припадки.

Сейчасъ вамъ ничего не могу выслать. Потерпите, добрѣйшій другъ. За романъ получу не менѣе 2,500 руб. Отдамъ. Вѣдь ужъ это вѣрно; я и задатокъ получилъ. Только бы кончить.

Пальто и пледъ пришлю. Можетъ завтра же вышлю въ Любекъ.—Что мнѣ дѣлать съ Янышевымъ! Боже мой: къ 12-му декабрю ему надо *непремѣнно* выслать долгъ. Тогда, можетъ, и вамъ тоже вышлю. Но гдѣ взять? У Каткова же слишкомъ не политично еще просить впередъ. Невозможно. Нелѣпо. Совсѣмъ не тѣ у меня отношенія.

Полную преданность и безпредѣльное уваженіе свидѣтельствую вашей супругѣ. А главное желаю ей здоровье—это главное. Поздравляю съ дочерью и цѣлую всѣхъ дѣтей, особенно *умницу*.

До свиданія, голубчикъ и старый другъ, крѣпко жму вашу руку

*Вашъ весь Ѳ. Достоевскій.*

Все хотѣлъ вамъ писать и все выжидалъ чего-нибудь положительнаго. Паша мой здоровъ и меня не утѣшаетъ, а братъ больной, навѣрно скоро умереть— въ этомъ году, можетъ быть. Буду вамъ подробно писать о всѣхъ новостяхъ и *планахъ*. Не забывайте меня и вы. У насъ снѣгъ, санная дорога и Нева становится. Пароходы врядъ ли могутъ быть. Перешлю другимъ образомъ. Чемоданъ получилъ изъ Франкфурта. Все стоило 65 руб.

Петербургъ, 9-го мая 1866 г.

Добрѣйшій Александръ Егоровичъ!

Запоздалъ отвѣтомъ и спѣшу наверстать потерянное. Повѣрите, другъ неизмѣнный Александръ Егоровичъ, что совѣсть меня самого беспокоитъ, и еслибъ ваше письмо пришло ко мнѣ только недѣлей раньше— я бы вамъ тотчасъ выслалъ. Не смѣйтесь, что такъ говорю. Вотъ вамъ мои дѣла: всю зиму жилъ анахоретомъ, работалъ, разстроилъ здоровье, жилъ копейками, а истратилъ 1,500 руб.—Куда? Да съ меня такъ и рвутъ! На страстной поѣхалъ въ Москву и взялъ у Каткова *впередъ* 1,000 руб. Цѣль была та, чтобы поскорѣе поѣхать въ Дрезденъ, засѣсть тамъ на 3 мѣсяца и кончить романъ, *чтобъ никто не мѣшалъ*. Иначе здѣсь, въ Петербургѣ, невозможно кончить. Припадки усиливаются (чего за границей не бываетъ), а кредиторы, чѣмъ болѣе имъ плати, тѣмъ становятся нахальнѣе. А между тѣмъ, они же должны быть мнѣ благодарны, что послѣ смерти брата я переписалъ векселя на себя и часть уже заплатилъ. А еслибъ я не переписалъ векселя на себя, то ничего бы они не получили.—Но дѣло обернулось такъ, что на этотъ разъ въ выдачѣ паспорта за границу потребовались особыя формальности, дѣло затянулось, а курсъ сталъ падать, и что было на

Святой еще возможно, то теперь и немислимо. А между тѣмъ кредиторы стали подавать ко взысканію, и моя тысяча пошла прахомъ. Мнѣ рѣшительно нельзя жить въ Петербургѣ.—Не смотря на все это, сижу и продолжаю романъ изо всѣхъ силъ. Онъ въ настоящую минуту—одна моя надежда. За него еще придется мнѣ дополучить около 1,500, а можетъ быть и болѣе, а потомъ продамъ на второе изданіе тоже никакъ не менѣе 1,500 руб. (уже торгуютъ). Но деньги съ Каткова получать начну не раньше іюля. Въ іюлѣ вамъ и пришлю, — *несомнѣнно*. Если же хотя малѣйшая возможность будетъ прислать раньше (а это очень можетъ случиться, потому что книгопродавцы уже торгуютъ на второе изданіе, прежде чѣмъ романъ конченъ), то тотчасъ же пришлю. А васъ же попрошу черкнуть мнѣ хоть въ двухъ словахъ точную цифру моего прошлогодняго вамъ долга въ *ригсталерахъ*, потому что записную книжку мою я потерялъ и помню мой долгъ приблизительно, но не точно. Прибавлю, что мнѣ прискорбнѣе вашего не послать вамъ теперь. Вы, конечно, обвините меня: зачѣмъ другимъ платилъ, а не вамъ? Все, что могу отвѣтить въ извиненіе себѣ, это то—что безъ намѣренія произошло. Они подлѣ меня и стиснули меня такъ, чтодохнуть нельзя было—все и роздалъ по неволѣ.

Курсъ-то нашъ сталъ падать по европейскимъ причинамъ; за Каткова я не стою, и стоять не стану очень, но социализма онъ не проповѣдуетъ. Вы читаете, вѣрно, только заграничныя статьи. Это мало, чтобъ знать дѣло. Неужели вы не пріѣдете на лѣто? Много было бы объ чемъ поговорить. Я же, кажется, останусь въ Петербургѣ, а слѣдственно заплачу лишнихъ рублей 1000. Хоть бы въ Москву или въ деревню куда уѣхать? Напишите же.

*Вашъ весь Ѳ. Достоевскій.*



**Хлопоты мои о Достоевскомъ. — Рядъ послѣднихъ нашихъ встрѣчъ. — Нѣсколько словъ по поводу памятника Ф. М. Достоевскому.**

По пути въ Петербургъ мнѣ пришлось сдѣлать нѣсколько остановокъ. Новый годъ я встрѣтилъ въ Барнауль; предполагая вернуться туда на службу, устроилъ свои дѣла и поскакалъ далѣе. Достоевскій тоже мечталъ въ то время, въ случаѣ помилованія, перебраться въ Барнаулъ. Въ письмахъ своихъ ко мнѣ отъ 13 апрѣля 1856 года и 21-го іюня того же года онъ говоритъ: «хочу именно въ Барнаулъ, не упускайте случая и похлопочите», а въ другомъ: «если произведутъ въ офицеры, то нельзя ли устроить чтобы въ Барнаулъ».

Я приложилъ всѣ старанія исполнить его желаніе и получилъ согласіе.

По пути, далѣе, я въ Омскѣ не остановился, чѣмъ вызвалъ неудовольствіе Гасфорта, какъ сообщилъ мнѣ Достоевскій въ своемъ письмѣ отъ 13-го апрѣля 1856 года. Но за то заѣхалъ въ Ялуторовскъ переночевать и повидать моихъ милыхъ старыхъ друзей изъ декабристовъ, И. И. Пуцина, М. И. Муравьева, князя Ев. Оболенскаго и вдову ихъ товарища Ентальцову. Я намѣревался также вновь заѣхать въ Тобольскъ проститься съ уважаемымъ мною губернаторомъ Арцимовичемъ и повидать прочихъ декабристовъ,—товарищей моего отца, но, рассчитывая все же вернуться въ Сибирь, отложилъ это свиданіе до обратнаго пути.

Скоро домчался я до Казани и тамъ немного застрялъ; встрѣтилъ товарищей по Лицею и знакомыхъ по Петербургу. Тамъ въ это время веселились на-пропалую. Обыкновенно всѣ окрестные помѣщики

сѣзжались зимою въ городъ и тогда жизнь была ключомъ. Примкнулъ и я къ общему веселію, танцовалъ до упаду, точно стараясь наверстать потерянное время въ Сибири.

И, наконецъ, въ февралѣ я вернулся къ своимъ въ Петербургъ.

И вотъ началась непрерывная переписка съ Достоевскимъ по его служебнымъ, денежнымъ и авторскимъ дѣламъ.

Участь его въ то время все еще не была выяснена вполне.

Я зналъ, что милостивый манифестъ появится къ коронаціи, но какія милости будутъ именно петрашевцамъ, конечно никто предугадать не могъ, самъ Дубельтъ и статсъ-секретарь Сахтынской еще не знали ничего. Эта неизвѣстность волновала Достоевскаго. Нетерпѣніе его расло не по днямъ, а по часамъ. Онъ какъ-то совершенно упустилъ, что я самъ, маленькій сибирскій чиновникъ, молокососъ, не могъ двинуть разомъ его дѣла, да и многіе мои родственники, занимавшіе хотя высокіе посты, все же ничего подѣлать для ускоренія этого дѣла, конечно, не могли.

Да и мнѣ не хотѣлось безъ толку надоѣдать имъ, это только могло испортить дѣло.

Этого Достоевскій, изнемогавшій отъ неопредѣленности своего тяжкаго положенія, какъ натура крайне нервная, возбужденная, не понималъ; стоитъ хотя бы прочесть рядъ его писемъ ко мнѣ за это время. Я дѣлалъ, что могъ; главнымъ ходатаемъ за него былъ графъ Э. И. Тотлебенъ.

Э. И. я зналъ еще будучи лицеистомъ, я часто встрѣчалъ его у дяди моего отца Кр. Ег. Мандерштерна (тогдашній комендантъ Петропавловской крѣпости). Съ Достоевскимъ Тотлебенъ былъ товарищъ по Инженерному училищу и инженерной службѣ,

а съ младшимъ братомъ его Адольфомъ Ѳ. М. дружилъ. 23-го марта 1856 г. Достоевскій пишетъ мнѣ: «Съ братомъ (Тотлебена) я другъ съ дѣтства».

Немедленно по приѣздѣ моемъ я побывалъ у Э. И., напомнилъ ему о Достоевскомъ, рассказалъ о его тяжеломъ положеніи и просилъ его сдѣлать для Ѳ. М. все возможное.

Посѣтилъ и брата графа, Адольфа. Оба приняли горячее участіе въ Достоевскомъ и пообѣщали сдѣлать все, что въ силахъ будетъ.

Имя Э. И. Тотлебена гремѣло тогда не только въ Россіи, но и по всей Европѣ. Какъ человѣкъ, это была пресимпатичная личность. Слава и почести ничуть не измѣнили его. Онъ остался тѣмъ же привѣтливымъ, добрымъ и гуманнымъ человѣкомъ, какимъ я знавалъ его до Севастополя.

Графъ много посодѣйствовалъ къ облегченію участи Достоевскаго своимъ заступничествомъ за него у князя Орлова и прочихъ сильныхъ петербургскаго міра.

Достоевскій очень цѣнилъ Тотлебена и глубоко былъ растроганъ его участіемъ и хлопотами за него. Онъ называетъ его «рыцаремъ».

Въ письмѣ ко мнѣ отъ 23 мая 1856 г. онъ пишетъ: «Это рыцарская душа, возвышенная и великодушная. Вы не можете представить себѣ, съ какимъ восторгомъ я гляжу на поведеніе такихъ душъ, какъ вы и они оба, относительно меня».

Но наиболѣе всѣхъ былъ полезенъ Достоевскому въ ходѣ его судьбы,—его высочество принцъ П. Г. Ольденбургскій. Меня онъ помнилъ еще по лицу,—будучи нашимъ попечителемъ, онъ почти ежедневно посѣщалъ лицей.

Пришлось мнѣ вновь вмѣшаться въ это дѣло Адольфа Гензельта. Я передалъ черезъ него принцу новые

стихи Достоевскаго на коронацію, о которыхъ онъ пишетъ мнѣ въ двухъ письмахъ:

Отъ 23 марта 1856 г.

«Нельзя ли пустить въ ходъ стихотвореніе»...

Отъ 23 мая.

«Просить неофициально позволенія печатать, не представивъ въ то же время сочиненія, по моему не ловко. Потому-то я и началъ съ стихотворенія... Прочтите, перепишите и постарайтесь, чтобы оно дошло до Монарха».

Я сдѣлалъ, что могъ. Принцъ передалъ стихи Государынѣ Маріи Александровнѣ. Дошли ли они да Государя,—я не знаю.

Одновременно съ присылкой этихъ стиховъ, Достоевскій увѣдомляетъ меня, что вышлетъ мнѣ статью: «*Письма объ искусствѣ*» для передачи президенту Академіи вел. княгинѣ Маріи Николаевнѣ: «Хочу просить позволенія посвятить статью мою ей и напечатать, хотя бы безъ имени. Статья моя—плодъ десятилѣтнихъ обдумываній. Всю ее, до послѣдняго слова, я обдумалъ еще въ Омскѣ <sup>1)</sup>. Будетъ много оригинальнаго, замѣчательнаго. За изложеніе я ручаюсь. Можетъ быть, во многомъ со мной будутъ несогласны многіе. Но я въ свои идеи вѣрю и того доволенъ. Статьи хочу прочесть предварительно Аполлону Майкову. Это «собственно назначеніе христіанства въ искусствѣ».

Эта статья такъ и не дошла до меня.

О другой статьѣ, начатой Достоевскимъ еще въ дни моего сожительства съ нимъ, статьѣ «О Россіи», онъ въ томъ же письмѣ пишетъ: «Я говорилъ вамъ по поводу статьи «*О Россіи*». Но это выходилъ чисто политическій памфлетъ. Изъ статьи моей я слова не

<sup>1)</sup> Письмо отъ 13 апр. 1856 г. на каторгѣ.

захотѣлъ бы выкинуть. Но врядь ли позволили бы мнѣ начать мое печатаніе съ памфлета, не смотря на самыя патріотическія идеи. А выходило дѣльно, и я былъ доволенъ. Сильно занимала меня статья эта. Но я бросилъ ее. Ну, какъ откажутъ напечатать! Къ чему же пропадать моимъ трудамъ».

Статьи этой я также не получилъ.

Добиться въ случаѣ помилованія права печатать свои произведенія составляло главную заботу Достоевскаго въ то время. Помимо горячей любви къ своему дѣлу, и матеріальная нужда побуждала его напоминать о себѣ и пробуждать къ себѣ интересъ выше. Мою точку зрѣнія на эти дѣйствія О. М., вызвавшія строгую критику нѣкоторыхъ лицъ, я уже высказалъ выше,—не буду повторяться. Расходовъ у него была бездна, а денегъ буквально ни гроша. Долги, долги и долги и только одна надежда впереди—заработать на повѣстяхъ и романахъ, которые непрестанно рождались у него въ головѣ. Бывали минуты, что онъ готовъ былъ, какъ онъ выражается въ письмахъ ко мнѣ отъ 9-го ноября и отъ 21 декабря 1856 г., «писать хоть навсегда безъ имени или «псевдонимомъ» или *incognito* (письмо отъ 23 марта 1856 г.). Просилъ даже меня печатать его вещи за моей подписью, но, конечно, я не воспользовался этой честью.

Наконецъ, по Высочайшему Манифесту ко дню коронаціи, Достоевскій былъ прощенъ и 1-го октября 1856 г. произведенъ въ прапорщики. 6-го февраля 1857 года, наконецъ, въ Кузнецкѣ состоялась свадьба Достоевскаго съ Исаевой. Онъ возвратился въ Семипалатинскъ сейчасъ послѣ свадьбы.

Между тѣмъ и въ моей судьбѣ и планахъ произошелъ переворотъ. Я познакомился съ капитаномъ 1-го ранга Перелешинымъ старшимъ, из-

вѣстнымъ героемъ Севастополя, имѣвшимъ Георгія на шеѣ.

Онъ былъ назначенъ командовать первую русскою эскадрою, шедшею кругосвѣтнымъ путемъ, огибая мысъ Доброй Надежды, къ берегамъ Восточнаго Китая, Японіи и къ устьямъ Амура. Въ случаѣ непризнанія китайцами нашего, заключеннаго съ ними графомъ Муравьевымъ-Амурскимъ трактата въ городѣ Айгунѣ, эскадра эта должна была демонстрировать въ заливѣ р. Пейхо, гдѣ въ это время находились эскадры Англии, Франціи и С.-Американскихъ Штатовъ съ таковою же цѣлью. Перелешинъ предложилъ мнѣ быть его секретаремъ для иностранной переписки, выхлопоталъ согласіе великаго князя Константина Николаевича и Высочайшимъ повелѣніемъ отъ іюля 1856 г. я былъ утвержденъ въ этомъ званіи. Но то починки, то неподготовка эскадры, то то, то другое,—мы такъ запоздали, что пошли въ дальнее плаваніе лишь осенью 1857 года.

Лѣто этого года я провелъ за границей и переписка моя съ Достоевскимъ на это время прервалась. Послѣднее его письмо ко мнѣ изъ Семипалатинска помѣчено 9 марта 1857 года. Между прочимъ онъ въ немъ пишетъ: «сильные перевороты въ жизни помогаютъ всегда; я былъ ипохондрикомъ въ высшей степени, но излечился вполне крутымъ переворотомъ, случившимся въ судьбѣ моей. Путешествіе превосходно!»

Какъ видитъ читатель, я послѣдовалъ его совѣту. Могу сказать, что это мое долгое кругосвѣтное плаваніе было лучшей порой моей многообразной, тревожной жизни и хорошей для меня школой. Я изучилъ свѣтъ и людей и дополнилъ свою житейскую опытность, вынесенную изъ Сибири.

Въ концѣ марта 1859 года возвратился я въ Петербургъ сухимъ путемъ, поднявшись зимою по р. Амуру въ Иркутскъ. Всѣ путешественники и курьеры къ генераль-губернатору въ то время ѣздили на портъ Аянь, расположенный на берегу Охотскаго моря, оттуда на оленяхъ и лошадахъ верхомъ далѣе до Якутска и оттуда почтовыми до столицы Восточной Сибири Иркутска. Я вызвался охотникомъ испробовать зимою этотъ новый путь, трудный, неизвѣданный, но очень интересный.

Мои воспоминанія объ этомъ путешествіи войдутъ въ мои будущія сибирскія записки, которыя, если Богъ приведетъ, собираюсь напечатать.

Изъ Иркутска графъ Н. Н. Муравьевъ-Амурскій отправилъ меня курьеромъ прямо къ Государю Александру II-му.

Я прискакалъ въ столицу въ концѣ марта, наскоро переодѣлся и поѣхалъ въ Зимній дворецъ представить депеши лично Государю. Дожидаясь очереди въ пріемной Государя, отъ утомленія чуть было не заснулъ, и тутъ же за труды свои получилъ строжайшій нагоняй отъ князя Горчакова, министра иностранныхъ дѣлъ, за то, что по установленному порядку не явился къ Государю прямо съ дороги, какъ былъ одѣтъ, въ дахѣ, кухлянкѣ и пимахъ, т. е. камчадаломъ. «Благодарите Бога, что теперь царствуетъ государь Александръ II», сказалъ мнѣ князь Горчаковъ. «Будь это при императорѣ Николаѣ Павловичѣ, сидѣть бы вамъ пять дней или недѣлю на гауптвахтѣ, какъ это бывало со многими чиновниками за такое же упущеніе».

По возвращеніи моемъ въ Петербургъ, вскорѣ произошла серьезная перемѣна въ моей судьбѣ, но объ этомъ дальше.

Въ этотъ промежутокъ времени Достоевскій по-

кинулъ Семипалатинскъ 30-го іюня 1859 года и поселился въ Твери, гдѣ было назначено его мѣстожителство. Онъ состоялъ подъ негласнымъ надзоромъ полиціи, съ воспрещеніемъ вѣзда въ обѣ столицы.

Переписка наша съ Ѳ. М. возобновилась. Первое письмо оттуда помѣчено 22 сентября 1859 г.

Привожу письмо цѣликомъ:

«Дорогой другъ мой, Александръ Егоровичъ, хотѣлъ было не писать къ вамъ, но не утерпѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, что можно писать послѣ 4-хъ лѣтъ разлуки? Надобно, сначала, вновь свидѣться, и какъ я былъ радъ, что вы (по словамъ брата) думаете махнуть сюда и повидаться со мной. Хоть на денекъ, безцѣнный вы мой. Какъ бы мы переговорили. А для такого господина, который извѣздилъ всю планету, проѣхать по желѣзной дорогѣ изъ Петербурга въ Тверь—вздоръ. Братъ пишетъ, что вы еще разъ собираетесь въ экспедицію. Это плохо—плохо для меня. Я думалъ, что мы ужъ не разлучимся, когда сойдемся въ Петербургѣ, и, потому, можете себѣ представить мое нетерпѣніе васъ видѣть,—хоть два дня, хоть нѣсколько часовъ. Вѣдь у насъ съ вами есть что помянуть. Много есть прекрасныхъ воспоминаній. Хотя съ того времени, когда я васъ проводилъ изъ вашей квартиры, въ 10-мъ часу ночи (помните?), у васъ слишкомъ много прибавилось въ жизни, но неужели же мы теперь не поймемъ другъ друга? Мы тогда крѣпко сошлись. Приѣзжайте же. Поговоримъ о старомъ, когда было такъ хорошо, о Сибири, которая мнѣ теперь мила стала, когда я покинулъ ее, о Казаковомъ Садѣ (помните?), о бобахъ и другихъ огородныхъ растеніяхъ, о милѣйшихъ—Змѣиногорскѣ и Барнаулѣ, гдѣ я послѣ васъ бывалъ довольно часто... ну, да обо всемъ. А вы мнѣ расскажете что-нибудь изъ послѣдующей жизни



вашей;—сойдемся опять и накопимъ еще лучше воспоминанія. Будетъ чѣмъ помянуть жизнь на старости лѣтъ.

«Что вы теперь замышляете? Чего ожидаете и каковы ваши надежды? Что вашъ отецъ и всѣ ваши домашніе?—Кто замѣнилъ X.? Бѣда, если X. въ Петербургѣ и имѣетъ на васъ вліяніе. Но это вздоръ и я дуракъ, что это заподозрилъ:

«Не цвѣсти цвѣтамъ послѣ осени.

«Объ васъ все, въ подробности, надѣюсь услышать отъ васъ же самихъ. Надѣюсь тоже, что вы мнѣ черкнете что-нибудь.—Если спросите обо мнѣ, то что вамъ сказать: взялъ на себя заботы семейныя и тяну ихъ. Но я вѣрю, что еще не кончилась моя жизнь, и не хочу умирать. Болѣзнь моя по прежнему—ни то, ни се. Хотѣлъ бы посоветоваться съ докторами. Но пока не доберусь до Петербурга—не буду лечиться. Что пачкаться у дураковъ. Теперь я запертъ въ Твери и это хуже Семипалатинска. Хотя Семипалатинскъ, въ послѣднее время, измѣнился совершенно (не осталось ни одной симпатичной личности, ни одного свѣтлаго воспоминанія)—но Тверь въ тысячу разъ гаже. Сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движенія, никакихъ интересовъ—даже бібліотеки нѣтъ порядочной. Настоящая тюрьма. Намѣреваюсь какъ можно скорѣе выбраться отсюда. Но положеніе мое престранное; я давно уже считаю себя совершенно прощеннымъ. Мнѣ возвращено и потомственное дворянство, особымъ указомъ, еще два года назадъ. А между тѣмъ я знаю, что безъ особой формальной просьбы (жить въ Петербургѣ)—мнѣ нельзя вѣхатъ ни въ Петербургъ, ни въ Москву. Я пропустилъ время; надо бы просить еще мѣсяць назадъ. Теперь же князь Долгорукій

въ отсутствіи. Я пишу Долгорукому письмо. Являлся съ нимъ къ графу Баранову (нашему губернатору) и просилъ его переслать князю. Барановъ обѣщаль, но сказаль—когда князь воротится, раньше же нечего и думать. Князь воротится въ половинѣ октября; слѣд. до тѣхъ поръ надо сидѣть и ничего не предпринимать. Я, конечно, почти увѣренъ, что мою просьбу уважатъ. Примѣры уже были: многіе изъ нашихъ въ Петербургѣ. Къ тому же Государь безпримѣрно добръ и милостивъ. Да и я постоянно былъ хорошо аттестованъ. Но вотъ чего я боюсь: затянется дѣло, а я живи въ Твери. И потому хотѣлъ было писать къ Эдуарду Ивановичу, да и напишу; хочу просить его: написать или переговорить обо мнѣ съ княземъ Долгорукимъ; тогда тотъ, уваживъ его ходатайство, не замѣшкаеть и сократитъ формы. Хотѣлъ было тоже просить Эдуарда Ивановича написать и Баранову,—чтобъ и здѣсь не затянули дѣло. Но, опять, беретъ раздумье: въ какихъ отношеніяхъ Эдуардъ Ивановичъ къ князю и знаетъ ли онъ нашего графа. Можетъ быть ему тяжело просить ихъ, а онъ ужъ и такъ для меня много сдѣлаль. Письмо къ Эдуарду Ивановичу хотѣлъ отправить черезъ васъ. (Еслибъ только онъ былъ Петербургѣ и вы переговорили съ нимъ лично! это лучше бы было; но братъ уже писалъ мнѣ, что Эдуардъ Ивановичъ въ Ригѣ). И потому, другъ мой, посоветуйте мнѣ что-нибудь. На васъ очень надѣюсь и надѣюсь, что вы меня не покинете, особенно, если Эдуардъ Ивановичъ скоро пріѣдетъ. Не знаю, когда писать. Какъ вы думаете? Скажите мнѣ что-нибудь и я вашему совѣту вполнѣ послѣдую.

Теперь о другомъ дѣлѣ: у меня много вашихъ книгъ, которыя я привезъ изъ Сибири съ собою, два пакета вашей домашней переписки и вашъ коверъ. Все это надо къ вамъ отправить. Я надѣюсь, что вы

уже получили нѣкоторыя изъ книгъ, которыя я вамъ отправилъ еще два года назадъ (съ Семеновымъ, членомъ Географическаго общества)—именно сочиненія Симашко. Книги ваши довольно хорошия. Напишите же объ нихъ распоряженіе.

«Ну, теперь покамѣстъ довольно. Дѣло за вами. Напишите мнѣ что-нибудь, голубчикъ мой, безцѣнный мой. Я такъ радъ былъ, когда братъ написалъ, что вы зашли къ нему. Я только что поручилъ брату разыскивать васъ въ Петербургѣ всѣми средствами. Мы съ Маріей Дмитріевной всѣ три года васъ такъ часто вспоминали и съ великимъ удовольствіемъ. Она очень желала бы васъ видѣть. Все хвораетъ. Прощайте же—обнимаю васъ.

*Вашъ Достоевскій.*

«Здѣсь такой скверный, неисправный и гадкій почтамтъ, что я даже хотѣлъ застраховать это письмо. Но, можетъ быть, и такъ дойдетъ. Мнѣ по три дня задерживаютъ письма. Братъ написалъ отъ 16 и вдругъ пересталъ писать, а теперь уже 22-ое. Что съ нимъ? Не боленъ ли? Я съ нетерпѣніемъ жду его письма и тревожусь».

Тверь, какъ видитъ читатель, не полюбилась Достоевскому, «хуже Семипалатинска», пишетъ онъ мнѣ, «въ тысячу разъ гаже». О Семипалатинскѣ онъ не разъ вспоминалъ и, какъ ни странно покажется, всегда съ теплымъ чувствомъ: «Поговоримъ о старомъ», пишетъ онъ, «когда было такъ хорошо, о Сибири, которая теперь мнѣ такъ мила стала».

И дѣйствительно, не легко жилось Достоевскому въ это время въ Твери. Матеріальныя заботы, пасынокъ Паша не мало доставляли ему хлопотъ, а Марія Дмитріевна вѣчно хворала, капризничала и ревновала.

Къ падучей его болѣзни присоединились мучительные припадки гемороя. Работаль Достоевскій много, хотя и жаловался, что въ Твери «ради вѣчныхъ гостей спокойно работать нельзя». Здѣсь онъ готовиль въ печать свои «Записки изъ Мертваго дома». Замѣтки свои къ этому всѣмъ извѣстному произведенію онъ заносиль еще въ бытность свою на каторгѣ въ Омскѣ и непрерывно дополняль въ Семипалатинскѣ въ дни нашего сожительства съ нимъ. Родъ моей службы въ Семипалатинскѣ даваль мнѣ широкую возможность сталкиваться съ типами «Мертваго дома». Достоевскій, собирая матеріаль для своей работы, просиль меня дѣлиться съ нимъ моими впечатлѣніями и наблюденіями надъ каторжниками<sup>1)</sup>.

Начать печатать эти «Записки» Достоевскій предполагаль въ январѣ 1860 года, и между нами было рѣшено, что если цензура не пропуститъ многое, то рукопись эту я черезъ е. в. принца Ольденбургскаго доставлю для прочтенія императрицѣ Маріи Александровнѣ. Но все обошлось и безъ этого шага.

Въ Твери Достоевскій нашель въ лицѣ военнаго губернатора графа Баранова и особенно его жены—друзей и ходатаевъ за себя.

Достоевскому было возвращено дворянство и наконецъ было дозволено печатать.

Этимъ вполне удовлетвориться Достоевскій, конечно, не могъ: его тянуло въ Петербургъ, въ центръ умственной жизни.

Всѣ письма его ко мнѣ въ это время полны порученій хлопотать совмѣстно съ гр. Э. И. Тотлебенемъ о дозволеніи скорѣе поселиться въ Петербургѣ.

Не мало удручала его въ это время и тревога о

---

<sup>1)</sup> См. письмо Д. къ брату отъ 11 октября 1859 г. «Биографія. письма, замѣтки записной книжки». Изд. Страхова. 1883.

своемъ пасынкѣ, Пашѣ Исаевѣ; какъ я уже сказалъ выше, куда-куда онъ ни обращался, къ кому-кому ни метался съ просьбами и наконецъ рѣшился обезпокоить своимъ ходатайствомъ самого Государя. Вотъ часть его письма къ Царю: «Государь Всемилостивѣйшій, простите мнѣ еще и другую просьбу и благоволите оказать чрезвычайную милость повелѣть принять моего пасынка двѣнадцатилѣтняго Павла Исаева на казенный счетъ въ одну изъ петербургскихъ гимназій или въ одинъ изъ петербургскихъ кадетскихъ корпусовъ.

«Вы, Государь, какъ солнце, которое свѣтитъ на праведныхъ и неправедныхъ, Вы осчастливили милліоны народа Вашего—осчастливьте же еще бѣднаго сироту, мать его и несчастнаго больного, съ котораго еще до сихъ поръ не снято отверженіе и который готовъ отдать сейчасъ же всю жизнь свою за Царя, облагодѣтельствовавшаго народъ свой».

Наконецъ въ январѣ 1860 года Достоевскій получилъ разрѣшеніе поселиться въ Петербургѣ. Онъ не замедлилъ переѣхать сюда, но одинъ; жену устроилъ въ Москвѣ, такъ какъ климатъ петербургскій былъ вреденъ для ея слабыхъ легкихъ.

Поселился онъ, какъ мнѣ помнится, на Гороховой улицѣ.

Мы часто видѣлись, но какъ-то мимолетно,—и онъ и я завертѣлись въ петербургской сутолокѣ. Къ тому же осенью 1860 г. я былъ объявленъ женихомъ и все свободное время проводилъ у своей невѣсты, а Достоевскій работалъ день и ночь, писалъ, писалъ и писалъ.

Зато рѣдкія наши свиданія всегда были полны самыхъ теплыхъ воспоминаній о прошломъ. Еще памятенъ мнѣ одинъ эпизодъ въ одну изъ нашихъ встрѣчъ.

Зашель Ѳ. М. какъ-то ко мнѣ побесѣдовать; между прочимъ разговоръ коснулся предстоящаго собранія дворянъ Петербургской губерніи. Я порывался сказать рѣчь «по поводу вольностей и правъ, дарованныхъ дворянству Екатериной II».

Достоевскій живо набросалъ для меня блестящую рѣчь, но... я, по счастью, воздержался и рѣчи не произнесъ.

Помнится мнѣ еще, присутствовалъ я какъ-то разъ на публичномъ чтеніи Достоевскаго. Въ этотъ вечеръ Достоевскій читалъ въ залѣ Руадзе (нынѣ домъ Гартонга) у Полицейскаго моста «Ревизора» Гоголя...

Мастерство его чтенія мнѣ было хорошо извѣстно. Залъ былъ переполненъ слушателями. Появленіе Достоевскаго и чтеніе его сопровождалось громомъ апплодисментовъ, но я лично не былъ въ этотъ вечеръ удовлетворенъ его чтеніемъ; я видѣлъ, что онъ не въ ударѣ, мнѣ казалось, онъ былъ смущенъ, голосъ былъ вялый и такой тихій, что мѣстами его было почти не слышно. Послѣ чтенія онъ разыскалъ меня въ толпѣ, подошелъ и подтвердилъ мое предположеніе,—не по себѣ ему было и читать онъ былъ совсѣмъ нерасположенъ, но къ нему пристали, а отказать въ чемъ-либо людямъ онъ не умѣлъ. Это было первое его чтеніе по возвращеніи изъ ссылки, кажется мнѣ.

Въ маѣ 1861 года, послѣ моей свадьбы, я уѣхалъ въ Бухарестъ на службу и до 1866 года не возвращался въ Россію.

Переписка моя съ Достоевскимъ, на нѣкоторое время было прекратившаяся, въ концѣ 1864 года вновь возобновилась. Я первый написалъ ему изъ Копенгагена, что назначенъ секретаремъ нашей миссіи въ Даніи, куда только что прибылъ одновременно съ цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ, имѣв-

шимъ намѣреніе просить руки принцессы Дагмары (нынѣ вдовствующей Государыни Маріи Теодоровны). Достоевскій отвѣтилъ мнѣ 31 марта 1865 года. Читатель найдетъ это письмо ниже; въ немъ онъ ярко рисуеъ всю жизнь свою, все вынесенное, выстраданное имъ за четыре года нашей разлуки.

Такимъ образомъ изъ этого письма я узналъ впервые, что Марія Дмитріевна скончалась, что умеръ и его любимый братъ Михаилъ Михайловичъ и что чувствуетъ онъ себя невыносимо одинокимъ: «и вотъ остался я одинъ и стало мнѣ просто страшно», пишетъ онъ мнѣ; «о другъ мой, я охотно пошелъ бы въ каторгу на столько же лѣтъ, чтобъ только уплатить долги и почувствовать себя опять свободнымъ... Теперь начну писать романъ изъ-подъ палки, т. е. изъ нужды, наскоро».

Петербургъ, 31 марта 1865 г.

«Милый, добрый другъ мой, Александръ Егоровичъ, я понимаю, что вы должны были очень удивиться и конечно, судя по чувствамъ вашимъ ко мнѣ, оскорбиться моимъ молчаніемъ въ отвѣтъ на оба ваши задушевныя добрѣйшія письма. Не удивляйтесь и не оскорбляйтесь. Я вамъ тотчасъ же хотѣлъ тогда отвѣтить и не могъ. Почему? прочтете ниже. Но васъ, друга моего, въ то время, когда у меня не было друзей, свидѣтеля и моего безконечнаго счастья, и моего страшнаго горя (помните ту ночь въ лѣсу, подъ Семипалатинскомъ, когда мы ихъ провожали?)—друга моего и потомъ здѣсь, въ Петербургѣ, ходатая за меня—васъ могъ ли бы я забыть? Напротивъ, всѣ эти годы много разъ я объ васъ думалъ и вспоминалъ. Но что была моя жизнь въ это время. Я вамъ обязанъ объясненіемъ и даже отчетомъ, чтобы разъяснить мое недавнее молчаніе на ваши письма.

Слушайте же: напишу вамъ всю мою исторію за это время,—впрочемъ, не всю, этого нельзя, потому что въ подобныхъ случаяхъ въ письмахъ главнѣйшаго никогда не расскажешь. Иное просто не могу рассказывать. А потому расскажу вамъ лучше, по возможности вкратцѣ, *последній годъ моей жизни*.

«Вы знаете, вѣроятно, что братъ затѣялъ четыре года назадъ журналъ. Я ему сотрудничалъ. Все шло прекрасно. Мой «Мертвый домъ» сдѣлалъ буквально фуроръ, и я возобновилъ имъ свою литературную репутацію. У брата были огромные долги при началѣ журнала, и тѣ стали оплачиваться,—какъ вдругъ въ 1863 году, въ маѣ, журналъ былъ запрещенъ за одну самую горячую и патріотическую статью, которую ошибкой приняли за самую возмутительную—противъ правительственныхъ дѣйствій и общественнаго тогдашняго настроенія. Правда, и писатель былъ отчасти виноватъ (одинъ изъ нашихъ ближайшихъ сотрудниковъ): слишкомъ перетонилъ, и его поняли обратно. Дѣло скоро поняли какъ надо, но ужъ журналъ былъ запрещенъ. Съ этой минуты дѣла брата приняли крайнее разстройство, кредитъ его пропалъ, долги обнаружили, а заплатить было нечѣмъ. Братъ выхлопоталъ себѣ позволеніе продолжать журналъ, подъ новымъ названіемъ «Эпоха». Позволеніе вышло только въ концѣ февраля 1864 г.; 1-й номеръ не могъ появиться раньше 20 марта. Журналъ, значитъ, опоздалъ; подписка уже повсемѣстно кончилась, потому что публика подписывается на всѣ журналы по старой привычкѣ только въ три мѣсяца, въ декабрѣ, январѣ и февралѣ. Надо было удовлетворить прежнихъ подписчиковъ, которые не получили расчета при прекращеніи «Времени». Имъ объявлено было, чтобы они досылали по шести рублей за «Эпоху» 1864 года. Такъ какъ новыхъ под-



писчиковъ почти не было, а были все старыя, дославшіе по шести рублей, то, стало быть, братъ долженъ быть издавать журналъ себѣ въ убытокъ. Это окончательно его разстроило и доканало. Онъ началъ дѣлать долги, здоровье же его стало разстраиваться. Меня подлѣ него въ это время не было. Я былъ въ Москвѣ, подлѣ умиравшей жены моей. Да, Александръ Егоровичъ, да, мой безцѣнный другъ, вы пишете и соболѣзнуете о моей роковой потерѣ, о смерти моего ангела брата Миши, а не знаете, до какой степени судьба меня задавила. Другое существо, любившее меня и которое я любилъ безъ мѣры, жена моя умерла въ Москвѣ, куда переѣхала за годъ до смерти своей, отъ чахотки. Я переѣхалъ—вслѣдъ за нею, не отходилъ отъ ея постели всю зиму, и 16 апрѣля прошлаго года она скончалась, въ полной памяти, и, прощаясь, вспоминала всѣхъ, кому хотѣла въ послѣдній разъ отъ себя поклониться, *вспомнила и объ васъ*. Передаю вамъ ея поклонъ, старый, добрый другъ мой. Помяните ее хорошимъ, добрымъ воспоминаніемъ. О, другъ мой, она любила меня безпредѣльно, я любилъ ее тоже безъ мѣры, но мы не жили съ ней счастливо. Все расскажу вамъ при свиданіи,—теперь же скажу только то, что несмотря на то, что мы были съ ней положительно несчастны вмѣстѣ (по ея странному, мнительному и болѣзненно-фантастическому характеру)—мы не могли перестать любить друга друга; даже чѣмъ несчастнѣе были, тѣмъ болѣе привязывались другъ къ другу. Какъ ни странно это, а это было такъ. Это была самая честнѣйшая, самая благороднѣйшая и великодушнѣйшая женщина изъ всѣхъ, которыхъ я зналъ во всю жизнь. Когда она умерла,—я хоть мучился, видя (весь годъ), какъ она умираетъ, хоть и цѣнилъ и мучительно чувствовалъ, что я хороню съ нею—но

никакъ не могъ вообразить, до какой степени стало больно и пусто въ моей жизни, когда ее засыпали землею. И вотъ уже годъ, а чувство все то же, не уменьшается... Бросился я, схоронивъ ее, въ Петербургъ, къ брату—онъ одинъ у меня оставался; черезъ три мѣсяца умеръ и онъ, прохворавъ всего мѣсяць и слегка, такъ что кризисъ, перешедшій въ смерть, случился почти неожиданно, въ три дня.

«И вотъ я остался вдругъ одинъ, и стало мнѣ просто страшно. Вся жизнь переломилась на-двое. Въ одной половинѣ, которую я перешелъ, было все, для чего я жилъ, а въ другой, неизвѣстной еще половинѣ, все чуждое, все новое, и ни одного сердца, которое бы могло мнѣ замѣнить тѣхъ обоихъ. Буквально, мнѣ не для чего оставалось жить. Новыя связи дѣлать, новую жизнь выдумывать? Мнѣ противна была даже и мысль объ этомъ. Я тутъ въ первый разъ почувствовалъ, что ихъ некъмъ замѣнить, что я ихъ только и любилъ на свѣтѣ и что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало все вокругъ меня холодно и пустынно. И вотъ, когда я три мѣсяца назадъ получилъ ваше горячее, доброе письмо, полное прежнихъ воспоминаній, мнѣ стало такъ грустно, что я не знаю, какъ вамъ выразить. Но слушайте далѣе».

«9 апрѣля 1865 г. Девять дней прошло съ тѣхъ поръ, какъ я началъ къ вамъ письмо, и буквально въ эти девять дней я не имѣлъ ни минуты времени, чтобы его окончить. Можете ли вы мнѣ повѣрить, Александръ Егоровичъ, что въ эти три мѣсяца, послѣ вашихъ обоихъ писемъ, и особенно послѣ второго, при которомъ мнѣ больно стало отъ мысли: что вы обо мнѣ подумаете,—можете ли вы мнѣ повѣрить, что я ни одной минуты, буквально, не могъ удѣлить, чтобъ отвѣчать вамъ, и оттого молчалъ до

сихъ поръ. Вѣрьте—не вѣрьте, и однако же это было такъ—это истина. А почему это такъ? сейчасъ узнаете. Продолжаю прежнее.

«Послѣ брата осталось всего триста рублей, и на эти деньги его и похоронили. Кромѣ того, до двадцати пяти тысячъ долгу, изъ которыхъ десять тысячъ долгу отдаленнаго, который не могъ безпокоить его семейство, но пятнадцать тысячъ по векселямъ, требовавшимъ уплаты. Вы спросите, какими же средствами могъ бы онъ добавить шесть книгъ журнала за остальную половину года (онъ умеръ въ іюлѣ 1864 года)? Но у него былъ чрезвычайный и огромный кредитъ; сверхъ того, онъ вполне могъ занять, и заемъ уже былъ въ ходу, но онъ умеръ, и весь кредитъ журнала рушился. Ни копейки денегъ, чтобы издавать его, а добавить надо было шесть книгъ, что стоило 18.000 minimum, да сверхъ того удовлетворить кредиторовъ, на что надо было 15.000,—и того надо было 33.000, чтобы кончить годъ и добиться до новой подписки журнала. Семейство его осталось буквально безъ всякихъ средствъ—хоть ступай по міру. Я у нихъ остался единой надеждой, и они всѣ, и вдова и дѣти, сбились въ кучу около меня, ожидая отъ меня спасенія. Брата моего я любилъ безконечно,—могъ ли я ихъ оставить? Предстояло двѣ дороги: 1) прекратить журналъ, предоставить журналъ (такъ какъ журналъ всетаки имѣнье и чего-нибудь стоитъ) кредиторамъ вмѣстѣ съ мебелью и домашнимъ хламомъ и взять семейство къ себѣ. Затѣмъ работать, литературствовать, писать романы и содержать вдову и сиротъ брата. 2-й случай) Достать денегъ и продолжать изданіе во что бы то ни стало. Какъ жаль, что я не рѣшился на первый. Кредиторы, конечно, не получили бы и 20 на сто. Но семейство, отказавшись отъ наслѣдства, по за-

кону не обязано было бы ничего и платить. Я же во всё эти пять лѣтъ, работая у брата и въ журналахъ, зарабатывалъ отъ восьми до десяти тысячъ въ годъ. Слѣдовательно, могъ бы прокормить и ихъ и себя, конечно, работая съ утра до ночи всю жизнь. Но я предпочелъ второе, т. е. продолжать изданіе журнала. Не я, впрочемъ, одинъ предпочелъ это. Всѣ друзья мои и прежніе сотрудники были того мнѣнія».

«14 апрѣля. Опять перерывъ былъ. Если бъ только вы могли знать, Александръ Егоровичъ, въ какихъ ужасныхъ и давящихъ меня занятіяхъ проходитъ все мое время. Продолжаю прежнее:

«Къ тому же, надо было отдать долги брата; я не хотѣлъ, чтобы на его имя легла дурная память. Средство было: дойти до годовой подписки, оплатить часть долга, стараться, чтобы журналъ былъ годъ отъ году лучше, и года черезъ три-четыре, заплативъ долги, сдать кому-нибудь журналъ, обезпечивъ семейство брата. Тогда бы я отдохнулъ, тогда бы я опять сталъ писать то, что давно хочется высказать. Я рѣшился. Поѣхалъ въ Москву, выпросилъ у старой и богатой моей тетки 10.000, которые она назначила на мою долю въ своемъ завѣщаніи, и, воротившись въ Петербургъ, сталъ издавать журналъ. Но дѣло было уже сильно испорчено; требовалось испросить разрѣшеніе цензурное издавать журналъ. Дѣло протянули такъ, что только въ концѣ августа могла появиться іюньская книжка журнала. Подписчики, которымъ ни до чего нѣтъ дѣла, стали негодовать. Имени моего не позволила мнѣ цензура поставить на журналѣ, ни какъ редактора, ни какъ издателя. Надобно было рѣшиться на мѣры энергическія. Я сталъ печатать разомъ въ трехъ типографіяхъ, не жалѣлъ денегъ, не жалѣлъ здоровья и силъ. Редакторомъ былъ одинъ я, читалъ корректуры,

возился съ авторами, съ цензурой, поправлялъ статьи, доставалъ деньги, просиживалъ до шести часовъ утра и спалъ по 5 часовъ въ сутки, и хоть ввелъ въ журналъ порядокъ, но было уже поздно. Вѣрите ли: 28 ноября вышла сентябрьская книжка, а 13 февраля генварская книга 1865 года, значить по 16 дней на книгу, и каждая книга въ 35 листовъ. Чего же мнѣ это стоило? Но главное, при всей этой каторжной и черной работѣ, я самъ не могъ написать и напечатать въ журналѣ ни строчки своего. Моего имени публика не встрѣчала и даже въ Петербургѣ, не только въ провинціи, не знала, что я редактирую журналъ.

«И вдругъ послѣдовалъ у насъ всеобщій журнальный кризисъ. Во всѣхъ журналахъ разомъ подписка не состоялась. «Современникъ», имѣвшій постоянныхъ 5.000 подписчиковъ, очутился съ 2.300. Всѣ остальные журналы упали. У насъ осталось только 1.300 подписчиковъ.

«Много причинъ этого журнальнаго нашего во всей Россіи кризиса. Главное, онѣ ясны, хотя и сложны. Но объ немъ послѣ. Посудите, каково положеніе наше. Каково, главное, мое положеніе. Чтобы старые братнины долги не беспокоили ходъ дѣла, я перевелъ ихъ тысячъ на десять на себя. Я рассчитывалъ, что еслибъ журналъ имѣлъ въ этомъ году, при несчастьи, хотя бы только 2.500 подписчиковъ вмѣсто прежнихъ четырехъ, то и тутъ все бы уладилось. По крайней мѣрѣ, свои долги расплатили бы. Я рассчитывалъ вѣрно. Никогда еще не бывало съ самаго начала нашего журнализма, съ тридцатыхъ годовъ, чтобы число подписчиковъ убавилось въ одинъ годъ болѣе, чѣмъ на 25 процентовъ. Приписывать худому веденію дѣла я не могу. Вѣдь и «Время» я началъ, а не брать, я его направлялъ и я

редактировалъ. Однимъ словомъ, съ нами случилось то же самое, какъ если бы у владѣльца или купца сгорѣлъ бы домъ, или его фабрика, и онъ изъ достаточнаго человѣка обратился бы въ банкрута.

«Въ началѣ подписки, долги, преимущественно еще покойнаго брата, потребовали уплаты. Мы уплатили изъ подписныхъ денегъ, разсчитывая, что за уплатою всетаки останется чѣмъ издавать журналъ. Но подписка пресѣклась и, выдавъ два номера журнала, мы остались безъ ничего.

«Въ этакое-то время и застали меня ваши письма. Я ѣздилъ въ Москву доставать денегъ, искалъ компаньона въ журналъ на самыхъ выгодныхъ условіяхъ, но, кромѣ журнальнаго кризиса, у насъ въ Россіи денежный кризисъ. Теперь мы не можемъ, за неимѣніемъ денегъ, издавать журналъ далѣе и должны объявить временное банкротство, а на мнѣ, кромѣ того, до 10.000 вексельнаго долгу и 5.000 на честное слово.

«Изъ нихъ три тысячи надо заплатить во что бы то ни стало. Кромѣ того 2.000 нужно для того, чтобы выкупить право на изданіе моихъ сочиненій, которыя въ закладѣ, и приступить къ изданію ихъ самому. Книгопродавцы даютъ мнѣ за это право 5.000 рублей. Но это мнѣ невыгодно. Если я буду издавать ихъ самъ—будетъ выгоднѣе. Теперь, чтобы заплатить долги, хочу издавать новый романъ мой выпусками, какъ дѣлается въ Англіи. Кромѣ того, хочу издавать «Мертвый домъ» тоже выпусками и съ иллюстраціей, роскошнымъ изданіемъ, и наконецъ, въ будущемъ году, полное собраніе моихъ сочиненій. Все это, надѣюсь, дастъ тысячъ пятнадцать, но какова каторжная работа.

«О, другъ, мой, я охотно пошелъ бы опять въ каторгу на столько же лѣтъ, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободнымъ. Те-

перь опять начну писать романъ изъ-подъ палки, то есть изъ нужды, на-скоро. Онъ выйдетъ эффектенъ, но того ли мнѣ надобно. Работа изъ нужды, изъ-за денегъ задавила и съѣла меня.

«И всетаки для начала мнѣ нужно теперь три тысячи. Бьюсь по всѣмъ угламъ, чтобы ихъ достать,— иначе погибну. Чувствую, что только случай можетъ спасти меня. Изъ всего запаса моихъ силъ и энергій осталось у меня въ душѣ что-то тревожное и смутное, что-то близкое къ отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояніе, и въ добавокъ—одинъ,—прежнихъ и прежняго, сорокалѣтняго, нѣтъ уже при мнѣ. А между тѣмъ все мнѣ кажется, что я только что собираюсь жить. Смѣшно, не правда ли? Кошачья живучесть.

«Описалъ я вамъ все, и вижу, что главнаго, моей—духовной, сердечной жизни я не высказалъ и даже понятія о ней не далъ. Такъ будетъ и всегда, пока мы въ письмахъ. Я письма не умѣю писать и о себѣ не умѣю въ мѣру писать. Впрочемъ, оно и трудно: много лѣтъ легло между нами, да и какихъ лѣтъ.

«И какъ кстати вы теперь отозвались мнѣ. Все вы мнѣ напомнили прежнее. Я люблю васъ прежняго, молодого, добраго, и такимъ васъ буду представлять себѣ всю мою жизнь.

«Кстати: я васъ еще совсѣмъ не знаю какъ семьянина. Кажется мнѣ (припоминая прежнее), что вы теперь должны быть счастливы. Но очень хочу угадать, какой новый отгѣнокъ, мнѣ неизвѣстный, положила семейная жизнь на вашу душу.

«Благодарю васъ за фотографіи вашего семейства. Я долго разглядывалъ карточки, вглядывался и угадывалъ.

«Заграницей я былъ два раза,—лѣтомъ 1862 и 1863 года. Каждый разъ ѣздилъ на три мѣсяца, былъ

въ Германіи (почти во всей), въ Швейцаріи, Франціи и въ Италіи (тоже во всей). Здоровье мое за границей, въ оба раза, воскресало съ быстротою удивительной. Я положилъ ѣздить каждый годъ на три мѣсяца, тѣмъ болѣе, что это ничего не значить въ денежномъ отношеніи, при дороговизнѣ нашей здѣшной жизни. Ѣздить же я хотѣлъ для поправки здоровья, чтобы отдыхать, поправляться и тѣмъ удобнѣе работать остальные девять мѣсяцевъ года въ Россіи. Но въ прошломъ году смерть брата заставила меня остаться, а нынѣшніе долги и занятія доконаютъ меня здѣсь окончательно. А какъ бы хотѣлось хоть на мѣсяцъ съѣздить провѣтрить голову, освѣжиться, воскреснуть. Къ вамъ бы заѣхалъ непременно. И кто знаетъ: можетъ быть, это случится. Изданіе «Мертваго дома» можетъ идти безъ меня, а за границей я постоянно пишу, потому что тамъ времени и спокойствія больше, чѣмъ здѣсь, особенно если жить на одномъ мѣстѣ. Къ вамъ бы заѣхалъ непременно.

«Карточку пришлю непременно, если скоро отвѣтите,—не сердясь за долгое молчаніе. Да и за что же, Боже мой, сердиться, развѣ я виноватъ.

«Я живу одинъ, при мнѣ Паша, мой пасынокъ. Ему уже семнадцатый годъ, учится, васъ очень помнитъ и вамъ очень кланяется.

«А много бы я вамъ поразсказалъ, если бы мы свидѣлись.

«Прощайте, добрый другъ мой, обнимаю васъ отъ всей души, горячо. Будьте счастливы. Теперь буду аккуратно отвѣчать. Пишите скорѣй.

«Боюсь, застанетъ ли васъ письмо это въ Копенгагенѣ.

«Вашъ весь прежній и всегдашній

*Федоръ Достоевскій.*



Въ 1865 году, вернувшись какъ-то изъ моего лѣтнаго отпуска въ Копенгагенъ, я нашель отчаянное письмо Достоевскаго изъ Висбадена. Оказывается, онъ проигрался тамъ въ пухъ и прахъ. Положеніе его было безвыходное, денегъ ни гроша; тѣснить, грозятъ и требуютъ со всѣхъ сторонъ,—онъ былъ въ полномъ отчаяніи. Эта новая страсть Достоевскаго—къ игрѣ,—была для меня полной неожиданностью. Въ Сибири, гдѣ такъ развито было картежничество, онъ картъ въ руки не бралъ.

Но, вѣроятно, его страстная натура и потрясенные нервы требовали сильныхъ ощущений, и онъ нашель ихъ въ азартной игрѣ въ рулетку.

Нечего было дѣлать, пришлось выручать стараго друга; помогъ ему, хотя и самъ не очень-то былъ при деньгахъ.

Одновременно написалъ ему, просиль его непременно пріѣхать ко мнѣ въ Копенгагенъ.

Пріѣхалъ онъ ко мнѣ 1-го октября, прожилъ у меня недѣлю, очень понравился моей женѣ и много возился съ двумя моими дѣтьми.

Я нашель его похудѣвшимъ и постарѣвшимъ.

Очень радостна была наша встрѣча; всплыли, конечно, воспоминанія о Сибири, о «Казаковомъ Садѣ», о нашихъ сердечныхъ увлеченіяхъ и пр., и пр. Много говорили и о покойницѣ Маріи Дмитриевнѣ, и о красавицѣ Маринѣ О., которую такъ ревновала къ нему его жена.

Невольно въ откровенной дружеской бесѣдѣ коснулись и его семейной жизни и странныхъ, мнѣ непонятныхъ и по сію пору взаимныхъ отношеній супруговъ.

Какъ-то въ одномъ изъ своихъ ко мнѣ писемъ онъ говорилъ: «Мы были положительно несчастны оба, но не могли перестать любить другъ друга, даже

чѣмъ несчастнѣе были, тѣмъ болѣе привязывались другъ къ другу».

При личномъ свиданіи въ Копенгагенѣ онъ вновь подтвердилъ мнѣ это.

Я никогда не предвидѣлъ въ этомъ бракѣ счастья для Достоевскаго. Всѣ страданія, вся обуза, что онъ взвалилъ, благодаря этому браку, себѣ на плечи, на долгое время лишили его душевнаго покоя. Не разъ въ Семипалатинскѣ я старался отрезвить  $\Theta$ . М. отъ его любовнаго психоза относительно Исаевой, но онъ и слушать не хотѣлъ: для него Марія Дмитріевна тогда рисовалась въ какомъ-то лучезарномъ ореолѣ.

Между прочимъ въ нашей бесѣдѣ въ Копенгагенѣ Достоевскій высказалъ свой взглядъ на женщинъ и далъ мнѣ поучительный совѣтъ. Затронувъ въ воспоминаніяхъ нашихъ сибирскихъ знакомыхъ, я упомянулъ о коварствѣ и легкомысліи одной сибирской дамы и въ отвѣтъ на это отъ  $\Theta$ . М. услышалъ слѣдующее: «Будемъ всегда глубоко благодарны за тѣ дни и часы счастья и ласки, которыя дала намъ любимая нами женщина. Не слѣдуетъ требовать отъ нея вѣчно жить и только думать о васъ, это недостойный эгоизмъ, который надо умѣть побороть».

Видь у Достоевскаго въ этотъ пріѣздъ его ко мнѣ былъ неважный, — еще раньше онъ жаловался мнѣ въ письмахъ на свое постоянное недомоганіе. Кромѣ падучей и гемороа, «сжигаетъ меня какая-то лихорадка, ознобъ, жаръ каждую ночь и я худѣю ужасно», писалъ онъ мнѣ.

Да и какое здоровье могло бы выдержать ту тревожную жизнь, какую въ то время велъ Достоевскій. Вѣчно нуждаясь, неся заботы на своихъ плечахъ не только о своей семьѣ, но и о семьѣ брата Михаила, всегда въ неоплатныхъ долгахъ, всегда подъ

страхомъ быть за долги посаженнымъ въ тюрьму, онъ ночь и день не зналъ покоя: день метался по редакціямъ, а ночи писалъ напролетъ: «на заказъ, изъ-подъ палки», какъ онъ выразился.

Все это не могло, конечно, не отразиться не только на здоровьѣ Достоевскаго, но и на его характерѣ.

Во время его пребыванія у меня въ Копенгагенѣ, онъ, между прочимъ, рассказалъ анекдотъ о себѣ, до какой степени нервности и раздражительности онъ подчасъ доходилъ.

Находясь въ Парижѣ, Достоевскій задумалъ побывать въ Римѣ. Для этого потребовалось на паспортѣ получить визу папскаго нунція, посланника при французскомъ дворѣ.

Зашелъ Достоевскій къ нему разъ,—нѣтъ дома, второй разъ,—тоже. Пришелъ въ третій; вышелъ молодой аббатъ, попросилъ сѣсть, обождать, такъ какъ монсиньоръ завтракаетъ и будетъ пить кофе.

Достоевскій взбѣленился, вскочилъ со стула и началъ кричать: «Dites à votre Monseigneur, que je crache dans son café,—qu'il me signe immédiatement mon passeport,—ou je me précipiterai chez lui avec scandale».

Юный аббатъ опѣшилъ, вытаращилъ глаза отъ удивленія. Такая особа—для него, какъ Monseigneur—и вдругъ собираются cracher dans son café».

Онъ бросился въ кабинетъ монсиньора, быстро вернулся съ другимъ аббатомъ и тутъ же попросили нашего Федора Михайловича немедленно обратиться, а за паспортомъ прислать portier изъ отеля.

«Да! погорячился!» сконфуженно улыбаясь, прибавилъ *Ө. М.*, заканчивая свой парижскій эпизодъ. Но, повидимому, такое раздраженное его состояніе не скоро еще миновало; такъ позже, въ письмѣ своемъ отъ 18-го февраля, онъ пишетъ мнѣ: «Я сталь

нервенъ, раздражителенъ, характеръ мой испортился; я не знаю, до чего этой дойдетъ».

Разставаясь съ Достоевскимъ въ Копенгагенѣ, мы оба рассчитывали, что лѣтомъ свидимся въ Петербургѣ. Но дѣла по службѣ измѣнили мои планы: я былъ назначенъ состоять въ свитѣ принцессы Дагмары, при въѣздѣ ея въ Петербургъ. По прибытіи ея въ столицу, начались празднества. Я по службѣ долженъ былъ повсюду на нихъ присутствовать. Приѣхала вмѣстѣ со мной и моя семья въ Петербургъ. Потомъ по семейному дѣлу пришлось экстренно уѣхать въ Варшаву, а оттуда прямо въ Данію.

Такъ Достоевскаго и не довелось повидать и это уже на долгіе годы.

Послѣднее письмо его ко мнѣ въ Данію помѣчено 9-мъ мая 1866 года.

Когда я покинулъ Копенгагенъ, осенью 1867 года, и переѣхалъ въ Петербургъ я случайно узналъ, что Достоевскій вступилъ во второй бракъ и уѣхалъ на нѣсколько лѣтъ за границу.

Когда же лѣтомъ 1871 года онъ возвратился, то я самъ безвыѣздно сидѣлъ въ Минской губерніи, работалъ не покладая рукъ, основалъ Минскій коммерческій банкъ, былъ его предсѣдателемъ, учредилъ Сельско-Хозяйственное общество, состоялъ почетнымъ мировымъ судьей, строилъ сельско-хозяйственные заводы въ имѣніи своемъ, и т. д., и т. д. Однимъ словомъ, дѣла было по горло, я рѣдко даже заглядывалъ въ Петербургъ, хотя зиму обыкновенно всегда здѣсь проживала моя семья.

Мой добрый Ѳедоръ Михайловичъ забылъ меня!

Въ 1873 году Достоевскій, наконецъ, въ Петербургѣ зашелъ ко мнѣ повидаться, желая отдать мнѣ свой денежный долгъ, сдѣланный имъ еще въ Копенгагенѣ въ 1865 году.

Я очень радъ былъ опять его увидѣть; встрѣтились мы, казалось, сердечно попрежнему, но... это не былъ уже мой прежній, дорогой семипалатинскій—Федоръ Михайловичъ!

Время и долгая разлука, конечно, наложили свою печать на наши отношенія, къ тому же въ этотъ день онъ показался мнѣ раздраженнымъ и нервнымъ: куда-то торопился. О прошломъ ни слова; онъ даже не сказалъ мнѣ, что онъ вторично женился и какъ идутъ дѣла его. А отъ постороннихъ лицъ, совершенно случайно, я узналъ, что благодаря своей второй достойной супругѣ, ея попеченію и горячей заботливости о немъ, онъ наконецъ нашелъ покой и ни въ чемъ не нуждался.

Литературное имя Достоевскаго гремѣло тогда повсюду.

Вскорѣ послѣ того я уѣхалъ за границу. Во время войны Черногоріи съ турками, состоя русскимъ комиссаромъ, я пробылъ тамъ всю войну, а въ 1879 году я былъ назначенъ генеральнымъ пограничнымъ консуломъ въ Данцигъ, гдѣ и поселился въ бывшемъ Петровскомъ дворцѣ.

Здѣсь въ началѣ 1881 года, какъ-то читая «Новое Время», я былъ пораженъ извѣстіемъ о смерти Достоевскаго.

Все прошлое воскресло въ моей памяти, мнѣ мучительно жалко стало моего бывшего стараго друга. Хотя послѣдніе годы и разъединили насъ, но я не переставалъ хранить къ нему глубокое чувство любви и уваженія.

Болѣзненно сжалось мое сердце при этой ужасной вѣсти.

Еще однимъ великимъ талантомъ у Россіи стало меньше.

Грандіозныя его похороны, о которыхъ я прочелъ

позже, показали, какъ высоко въ то время цѣнили Достоевскаго, какъ велика была его утрата для Россіи.

Осенью 1882 года мой другъ А. С. Іонинъ (нынѣ тоже покойный, бывшій посланникомъ въ Бразиліи и въ Бернѣ), въ бытность свою въ Петербургѣ, зная о моихъ близкихъ отношеніяхъ съ Достоевскимъ, просилъ у меня его письма для прочтенія.

Вскорѣ я выѣхалъ за границу, Іонинъ въ Египеть, письма же мои онъ по просьбѣ вдовы писателя графа Алексѣя Толстого далъ ей, въ свою очередь, прочитать.

Послѣ этого писемъ этихъ я больше ужъ обратно не получилъ, они мнѣ не были возвращены.

Совершенно случайно, годъ спустя, кто-то сообщилъ мнѣ, къ крайнему моему удивленію, что письма Достоевскаго ко мнѣ появились въ печати.

Оказалось, они были изданы въ 1883 году въ числѣ прочихъ писемъ *Ө. М. Достоевскаго*, въ сборникѣ *Н. Н. Страхова*.

Я приобрѣлъ этотъ сборникъ. Перечитывая, я усмотрѣлъ, что кой-что мое, личное, къ большому моему удовольствію, по крайней мѣрѣ выпущено. Но въ то же время я замѣтилъ, что трехъ интересныхъ ко мнѣ писемъ Достоевскаго не хватаетъ,—въ сборникѣ ихъ не оказалось.

Гдѣ всѣ эти письма?

Быть можетъ, кто-либо укажетъ, къ кому мнѣ обратиться, чтобы получить обратно дорогую моему сердцу собственность?

Теперь, заканчивая мои воспоминанія о *Ө. М. Достоевскомъ*, я считаю нужнымъ сказать читателю, что главная цѣль этихъ моихъ записокъ была

пополнить жизнеописание нашего великаго психолога-писателя.

Пребываніе Достоевскаго на каторгѣ, по его «Запискамъ Мертваго дома» извѣстно не только въ Россіи, но и всему міру.

Жизнь же его безсрочнымъ солдатомъ въ Семипалатинскѣ, насколько я знаю, никогда не затрагивалась въ печати, да и едва ли точно была кому-либо извѣстна.

Въ заключеніе не могу не сказать еще нѣсколько словъ о томъ, что было бы болѣе чѣмъ своевременно подумать о сооруженіи памятника нашему незабвенному *Ө. М. Достоевскому*.

Быль бы счастливъ дожить до этого радостнаго событія.

Неужели же литературныя заслуги его менѣе заслугъ *Крылова* и *Лермонтова*, да и другихъ, память которыхъ уже достойно почтена?!

Для начала, пусть часть чистаго дохода отъ продажи этой книги будетъ первой лептой въ фондъ будущаго памятника великому русскому писателю *Өедору Михайловичу Достоевскому*.

1908 г.

5-го августа

*Иматра—Сайма-Хови.*